

**Владимир
КРУПИН**



ЖИВАЯ ВОДА

Русская проза

Русская проза (Вече)

Владимир Крупин

Живая вода

«ВЕЧЕ»

2017

Крупин В. Н.

Живая вода / В. Н. Крупин — «ВЕЧЕ», 2017 — (Русская проза (Вече))

ISBN 978-5-4444-9162-1

В книгу классика русской прозы Владимира Крупина вошли: его знаменитая повесть «Живая вода», по которой был снят кинофильм «Сам я – вятский уроженец» (в главных ролях – Михаил Ульянов, Евгений Лебедев, Сергей Гармаш; режиссер Виталий Кольцов), а также блистательно написанная повесть о московских студентах 1960-х годов «Прости, прощай...» и роман «Спасение погибших» – серьезное и одновременно веселое исследование нравственной атмосферы писательского мира того же времени. Тонкий, исключительно крупинский юмор, образность описаний, живописный язык радуют и восхищают.

ISBN 978-5-4444-9162-1

© Крупин В. Н., 2017

© ВЕЧЕ, 2017

Содержание

Живая вода	6
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Владимир Крупин

Живая вода

Знак информационной продукции **12+**

© Крупин В.Н., 2017

© ООО «Издательский дом «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

Живая вода

Тебе на память, мне на камень.

Заговор

- Жили-были... – начинал Кирпиков, но Маша кричала:
- Ой, только не дед да баба!
- Мать, слышь?
- Чего? – откликнулась из кухни Варвара.
- Чего внука-то говорит, хватит, говорит, пожил.
- Живите, – разрешала Маша. – Ты мне не сказку Расскажи, а про себя.
- Про себя? – Кирпиков раскрывал газету, притворялся, что изучает ее, и докладывал: –

Про меня ничего не написано.

- Как ты был маленьким, – заказывала Маша. – Как ходил за живой водой.

- Ходил и ходил.

– Ну, деда, ну последний раз! Ну! «Жили вятские мужики плохо, но этого не знали...» Деда! Дальше!

– Жили и жили. И думали, что живут хорошо, не хуже других, но пришел захожий человек, говорит: «Чего это вы так плохо живете? Живой воды, что ли, не пивали?»

И сам Кирпиков, и Маша, и Варвара знали, что он расскажет историю до конца. Для Маши-то! Да она как хотела им вертела. Да он и рад был. Машенька тоже бегала за ним как хвостик, как привязанная. И не разобрать было, кто из них ребенок. Машенька воскресила начало его жизни. Оно как будто уходило куда-то на пятьдесят лет и вот – вернулось.

Это не было стариковское впадение в детство, нет, эти воспоминания были за семью печатями взрослого труда, нехваток, лишений, войны, снова труда, глухоты к детству собственных детей, но пришла Маша, положила свои ручонки на эти печати, и они исчезли, двери упали прахом, и – боже мой! – как и не было всей жизни, а только детство.

Как, оказывается, он много знал сказок! Будто он сам сочинил все сказки про дурачков, и Бабу-ягу, и Кощея, он свободно шел по незнакомой дороге, уверенный, что выйдет к нужному месту. А песни! Уж на что Варвара певунья, и та диву давалась, как муженек распевал «Ой да вы не вейтесь, русые кудри...», «Во субботу, день ненастный...» (эту она даже подтягивала, а Машенька, не вдаваясь в смысл, танцевала), «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа...». А сколько вполне печатных частушек сыпалось вдруг из памяти Кирпикова на восхищенную Марию.

Она не оставалась в долгу и угощала стариков новомодными песнями, которых знала множество. «Не плачь, девчонка...», «Снегопады – это очень, очень хорошо...», «То ли еще будет...» и другие, заставляла деда играть в детский сад. Варвара раз усмеялась, когда ее старик изображал мальчика-бояку. «Не бойся, мальчик, – говорила Маша, приступая к лечению, – сейчас машинка немного пожужжит, пыль с зубиков сдуем, и все». Кирпиков, помнящий выдирание остатков зубов без заморозки и делание искусственной челюсти, искренне выказывал ужас. Пришлось побыть ему и тетей воспитателем, а Маша являлась к нему в группу с проверкой. «Что-то у вас, Александра Ивановна (Кирпиков надевал Варварин фартук), дисциплина хромает. Сделайте выводы». И Кирпиков делал. Он проводил собрание и страдал непослушных кукол-детсадовцев криком: «На Гитлера работаете!» То-то Маше смеху.

– Ну, деда, – напомнила Маша, – «сказал им захожий человек: чего это вы так живете, что хуже вас никто не живет?».

– Мужики говорят: «Ты давай уматывай по холодку, а уж мы сами разберемся». Ну, он умотал, а мужики задумались. День думают, два, неделю: а вдруг в самом деле живут хуже

всех? Обратно, и живой воды не пивали. Надо спросить. Надо, как не надо! Кого спросить! Как кого? Бога, больше некого...

Маша усаживалась поудобнее. Кирпиков понимал, что запрягся в историю и надо тянуть до конца.

– Кого послать? Кого ни коснись, никто не хочет. Этот боится, этому некогда. На том грех, на этом два. Я тут же крутился. Мужики решили: пошлем Саньку. Молодой, на него не обзарятся. «Вали, Саня, узнай, как и что. И живой воды попроси. Если что, мы даром отработаем». Ладно, говорю. Да и самому охота поглядеть. Взяли меня мужики за руки, за ноги, раскачали и на небо забросили. Только рубаху в штаны заправил, апостолы: «Кто такой? Куда?..» Так и так, к самому. А там у них так налажено, все так сверкает, что стыдно в рванье-то. Да босиком. Один говорит: «Может, не пускать?» Другой все же за то, чтоб пустить, – много ли, мол, сопляк знает и все ж таки связь с народом. Пустить! Не успел моргнуть, как переодели, обули, представили. Вот, говорю, послали спросить. «Откуда?» – «Вятский». – «Что за народ?» – «Да ничего, – ему отвечают, – в рамках терпимости. Храмы вот только ставят деревянные, а в остальном терпят. И живут хорошо, ребятишки даже летом ходят обутыми. Перед вами наглядный пример». – «Еще какая просьба?» Вот, говорю, велели спросить, как бы живой воды, хотя бы по глоточку. Разговоров много, а не пробовали. «Выдать! Все?» Все не все, а уж сзади в спину тычут – кланяйся. Вышел в переднюю, очухаться не могу, думаю, как бы запомнить: вот эдак я стоял, вот эдак он сидел, а что ж не спросил-то, хуже мы живем или лучше? Гляжу, а уж я обратно босиком. Апостолы говорят: «Давай валяй ко своим, иди еще потерпи». А как, говорю, живой-то воды, ведь обещали. «Будет. Расплата потом». Подвели ко краю, спихнули. Да ловко рассчитали, упал на солому, глазами хлопаю, а в руках здоровенная бутылка. Кругом мужики. «Принес ли?» – «Вот». Стали пробовать. Да больно всем понравилась. Да раз пустили по кругу, да другой, да и песню запели.

– Какую песню? – спросила Маша.

– Какую? «Степь да степь кругом, путь далек лежит...»

– А в тот раз пели «Славное море, священный Байкал...».

– Не одну, много пели. Распелись, глядят – бутылка-то пустая. «Давай, Сань, недолгое дело, слетай за добавкой». Я и жду, когда раскачают да бросят на небо. «Нет, – говорят, – это ближе, беги в сельпо, никакой разницы...»

– И тут ты просыпаешься? – спросила Маша.

– И тут я просыпаюсь.

1

Не в бархатный сезон, как сказал поэт, пришел в мир наш герой, прожил жизнь, как велели, и неужели кто-то осудит, что в эти минуты он сидит за кружкой пива? Вернее, не сидит, а стоит и говорит речь. И все его слушают, хотя в час закрытия пивной невозможно завладеть общим вниманием. Хотел, например, некий Вася Зюкин от восторга души запеть, но тут же буфетчица Лариса выкинула певца. И снова тишина. Если бы в пивной могли выжить мухи, было бы слышно, как они пролетают.

– Мы чешем в затылке, а лысеем со лба, – говорил Кирпиков. – И точно так все. Поэтому, если даже мы спрыгнули не с одного дерева или вышли не из одной пещеры, все равно мы были братьями и сестрами. Хотя бы троюродными или четвероюродными. И если заняться, то везде найдешь свою родню. Даже в Африке, только, может, они не признаются...

Интересно, чем же привлек Кирпиков общее внимание? Разгадка заключалась во времени года: наступала весна. Уже высунулись из снежных варежек ладошки пригорков, уже хозяева поглядывали на огороды. Огороды были у всех – лошадь только у Кирпикова. Лошадью был безымянный мерин ле-собазы. Кирпиков числился сторожем лесобазы, но считал себя

конюхом. «Слово “сторож”, – говорил он, – позорит нашу действительность. Раз есть сторож, значит, имеются воры. Но кому надо, тот и у сторожа украдет, а от честных и стеречь нечего».

Весной в дни посадки картофеля и осенью в дни уборки Кирпиков становился желанным для всех. Его наперебой угощали, лучше сказать – поили авансом, и что важнее для него – выслушивали. Он переставал быть Сашкой, вспоминалось его полное имя.

– Говорите, Александр Иванович, – возник робкий голос пенсионера Делярова.

– Приказываю слово «баба» вычеркнуть из всех списков! – приказал Кирпиков. – На полях заметьте: женщины. Приступайте!

– Нет списков, – сказал Деляров, – неоткуда вычеркивать.

– Дурак ты, – сказал ему Кирпиков.

– Я – дурак?! – трусливо спросил Деляров, взглядом вербуя свидетелей.

– Ты, ты, – успокоил его шофер Афанасьев, в просторечье Афоня.

– Только без рук! – крикнула Лариса.

– Все дураки, – обобщил Кирпиков.

– Ну, если все, – успокоился Деляров.

– ...за исключением моего мерина. Нас много – он один. Он – последняя лошадь, я – последний конюх. Он умрет, и я отомру. Записываем далее: красота есть природа жизни. Но вы все слепые.

Изречение о красоте пропало незамеченным, а упрека в слепоте мужики не приняли – какие же они слепые, если шли по домам самостоятельно, а если спотыкались, то не от слепоты, а оттого, что обойти препятствие не было сил.

– История жизни учит... – продолжал Кирпиков.

Но чему учит история жизни, никто не узнал. Жаль. Что делать – земное притяжение одолело. Кирпиков рухнул. Искусственная челюсть отрывисто лязгнула.

– По домам! По домам! – закричала Лариса.

Стали расходиться по одному и группами.

Вася Зюкин встречал выходящих и радостно спрашивал:

– Все видали? Ну Лариска, ну баба! Отвори ухо с глазом, и оба разом! Как меня, а?! До трех раз, не меньше, перевернулся. На четыре точки встал. У жены моей и то так не часто выходит. Самое главное, – хвалился он, – ни одна стеклотара не разбилась, хоть бы где трещина.

Вышел не пивший ни грамма, но окосевший от спиртных паров пенсионер Деляров. Он разулся и убежал трусцой. «От инфаркта, – думал он, – и от пивной подальше». Конечно, без необходимости пахать огород он бы не стал кланяться Кирпикову. Но не копать же лопатой. «Однообразный физический труд отупляет», – думал Деляров.

Афоня вывел Кирпикова, уравнивал.

– Дойдешь?

– Докуда? – спросил Кирпиков, плохо ориентируясь.

– До дому.

– В какую сторону?

– В эту, – показал Афоня.

– В эту дойду, – ответил Кирпиков.

На прощанье они пожали друг другу руки. Это было рукопожатие равных по положению в поселке людей. Если у Кирпикова был мерин, то у Афони – грузовик. Привезти сено, подбросить дровишек – за этим шли к Афоне. Разница была в оплате. Кирпиков за работу получал пол-литра с закуской, Афоня брал деньгами.

Афоня, а с ним и Вася Зюкин ушли. Вася, потряхивая бутылками за пазухой, запел. Бутылки звякали на две октавы выше – Вася не тянул.

– Башку тебе баба отсоединит, – полушутя-полупрорица сказал Афоня.

– Сегодня не, – весело ответил Вася, – ей сегодня ни до чего, у нас собачка сдохла. Завтра похороны, приходи, помянем.

Вскоре звяканье затихло, и Кирпиков, всем нужный человек, остался один, всеми брошенный. Ему так много подносили, что он набрался сверх меры. Ему следовало бы знать, что пресыщение наказывается, но все мы крепки задним умом.

Мимо по железной дороге, временным ожерельем обхватывая горло поселка, летели поезда. Днем пассажиры могли видеть крохотный вокзальчик, станционный буфет, несколько десятков домов, забор лесобазы, штабеля дров, металлическую трубу общественной бани; ночью мелькало несколько огоньков, и все.

Но как упрекать пассажиров мягких, купейных и плацкартных вагонов в том, что у подножия мелькнувшего за окном станционного буфета страдает их ближний, а они не спешат на помощь. Тем более и страдал он заслуженно. Мог и не напиваться. Но опять-таки, как винить Кирпикова: просили выпить – не мог отказать. Ему оставалось проспаться и отрабатывать аванс.

Дальние поезда летели мимо, но два раза в день останавливался пригородный. Единственный пассажир, сошедший в поселке, запнулся за Кирпикова.

– Кто там? – спросил Кирпиков спросонья. – Сейчас запрягу. – И очнулся: над ним стоял человек в форме.

Кирпиков одолел земное притяжение и тогда только разглядел, что форма не милицеевская.

– Не на того нарвался, – сказал он, собираясь снова залечь.

Но человек свирепо встряхнул его, и Кирпиков узнал лесничего Смышляева. Пошли вместе. Кирпиков шел зигзагами, будто запутывал следы.

– Ну что, – спросил он лесничего, – разбогатело государство от моей пятерки?

– Если ты поумнел, то разбогатело.

– Штраф – не пища для раздумий, – назидательно сказал Кирпиков. – Возьми на карандаш. За веники! – воскликнул он, адресуясь небесам. – За веники меня штрафанули на пятьдесят рублей на старые деньги!

– Нечего в питомник соваться! Я на каждый росток надышаться не могу!

– Все там ломают, – Кирпиков наивно думал, что ссылка на большинство оправдывает, – а засекли меня. Думаешь, я обеднел из-за твоей пятерки?

– Лишний раз не выпьешь.

– Меня и так уважают в десятикратном размере. А кто тебе поднесет? Пошли в стекляшку, проверим. Заворачивай. Никто не заплачет, где могилка твоя...

Лаяли собаки. Они преследовали две цели, и довольно успешно: оправдывали объедки с хозяйского стола и передавали вдоль по улице как эстафету подгулявшего Кирпикова и его спасителя.

Из Кирпикова начинал выходить хмель, и он мелко постукивал вставными зубами.

– И чего было человека тревожить? – обиженно сказал он. – Лежал бы себе и лежал. Нет, вставай. Не можешь ты, видно, чтоб люди спокойно жили. А я тебя другом считал.

– Опять неладно, – усмехнулся лесничий. – Оштрафовал – плохо, от простуды спас – плохо. Ты золотые веники ломал. Это посадки карельской березы, из нее лучшая мебель.

– А мебель нам ни к чему, – заявил Кирпиков, принимая лужу за кусок асфальта. – Я и без кровати, на полу сплю – некуда падать.

Лесничий вывел его на берег.

– И вообще, – сказал Кирпиков, – будет у кого пожар, я тушить не пойду – пусть все сгорит. Без чего можно обойтись, это лишнее и вредное. Это уж просто не знают, как из народа деньги выманить. Сколько стоит мебель из карельской березы?

– Тысячи две, две с половиной.

– Две с половиной?! – На такую заоблачную цифру Кирпиков так потрясенно ахнул, что собаки озадаченно смолкли. – Вот ты когда себя выявил! Вот где тебя подловил! Две с половиной! На спекулянтов работаешь. Мебель, хренебель, рестораны. Одни тунеядцы. Работать некому. Закрыть рестораны – вот и рабочая сила.

– Нет, Александр Иванович, красивая вещь – это хорошо. Вот представь, ты сделал...

– Не собираюсь...

– Да уже и некогда. Дошли.

– Я и сам вижу. Дошли! Был ты мне хорошим, сам напортил. Ты людей на мне не учи. Ты к народу задом не становись, – назидательно сказал Кирпиков.

– Прожил ты жизнь, а ума не нажил.

– Как это прожил? – вскинулся Кирпиков. – Чем я кому помешал? Места я немного занимаю, так что разрешите пожить!

Лесничий пожал плечами и пошел своей дорогой. Идти было неблизко. Плохонький лес-самосев шумел под ветром, и даже привыкший к лесу человек вздрагивал, когда ветер внезапно заслонял дорогу веткой.

2

– Картина Репина «Не ждали!» – так комментировал Кирпиков свое переступание через порог. – Не вижу радости.

Варвара вздохнула и отвернулась. Можно было, дождавшись мужа, пойти спать, но она по опыту знала, что пока он не выговорится, не уснет. Имелось средство – выдернуть вставную челюсть, но муж был начеку.

– Не двигаться, – предупредил он, ложась в углу под иконой. Лег на пол принципиально, как бы заочно доказывая лесничему, что слова у него не расходятся с делом.

– Ну, борони, борона, – вздохнула Варвара. – И когда ты только образумишься? Ведь лысый уже, леший ты, леший, в четыре глотки льешь, да когда хоть доверху нальешься, когда хоть руки мне развяжешь, леший ты, сатана.

– Ответь на вопрос, – сказал на это Кирпиков и закурил, – есть ли в могиле кровати? Нет. Три очка. Второй вопрос: когда я умру? Отвечаю: ни-ко-гда. Весной и осенью я на вес золота, умереть не дадут. Лето исключается. Остается зима. Нахожу выход – на зиму уезжать в Африку.

Варвара пошла в кухню и налила в стакан воды.

– Под иконой не посмеешь, – хладнокровно сказал Кирпиков. – Мне даже выгодно, что ты веришь. А я не верю. Могу и матом запузырить.

– Господи, Твоя воля, прости неразумного. Не доводи до греха.

Кирпиков распалился:

– За что простить? За то, что всю жизнь хребтину ломал, за это? За то, что пятерым детям образование дал? За то, что воевал? А? Что чужой копейки не взял? За это? Не приближайся! Стоять на месте! Прицел постоянный!

Варвара, усыпляя бдительность, взялась за штопку.

– Я вижу перед собой темноту, то есть тебя. И должен просвещать. Даю справку на вопрос в устном виде. Бог для начала был, не спорю. Он завязал тут жизнь, сказал: размножайтесь – и улетел. И мы занялись. Скажи, кто создал твоих детей? Нет ответа. Я или кто другой? Открой тайну. Все-таки я? И запомни: я их создал – я и есть бог. Проверь. Ударь табуреткой – выживу. Поздно менять планету.

Варвара плюнула и ушла. Кирпиков, делая вид, что утирается, вскочил.

– Ты плюешь?! – заговорил он. – Ко мне не пристанет. Прошу слова: в меня плюнула русская женщина. Предел кончен.

Все-таки сегодня он был не в ударе. Чувствовал какую-то слабость. То ли хмель проходил, то ли разговор с лесничим подействовал. Раньше он выделявал штуки похлеще, например, репетировал, как ему лежать в гробу (значит, умирать все-таки собирался).

– Следующим номером нашей программы, – объявил Кирпиков и пошел к репродуктору...

Номер назывался: «Не хотите со мной разговаривать? Очень хорошо! Я вынужден говорить с Москвой».

– Како те, лешему, радио, времени два часа! – чуть не плача закричала Варвара из кухни. – Все другие спят давно, Господи, за что мне такое наказание?

– Итак! В эфире Кирпиков. Местное время... Мать, мерина кормила?

– Чтoб он сдох, твой мерин.

– Просим извинения у слушателей. Это происки чуждого элемента. По команде кормила? Я серьезно спрашиваю.

– Кормила!

– Благодарность в приказе. Итак. Товарищи! К нам с просьбой обратилась простая рядовая труженица, внешне ничем не приметная женщина. Это ты. Исполняем для нее песню.

Кирпиков запел:

Когда я был начальником,

Носил штаны в полоску...

Сохранять спокойствие,

Дайте папироску.

Как и полагалось искусству вообще, искусство Кирпикова было правдивым. Закурить хотелось, папиросы кончились, штаны в полоску износил, и не одни, и начальником побывал. Здесь же, на месте лесобазы, были колхозные поля, и Кирпиков, вернувшись из госпиталя, бригадирил. Что касается призыва к спокойствию, его можно толковать по-разному. Кирпиков же как реалист не вкладывал в него какого-либо второго смысла – он просто призывал к спокойствию. На самый крайний случай мог найтись кто-то и сказать, что не важно, какие штаны носил герой, но на всех не угодишь.

Но недешево стоит занятие искусством – Кирпиков поплатился: Варвара подкралась сзади, схватила за голову и выхватила вставную челюсть.

Кирпиков не смог даже пристойно кончить передачу – не будешь же шамкать беззубым ртом.

Варвара, спрятав добычу, села на стул и долго с состраданием наблюдала, как муж обиженно грудит половики и мостится на них.

– Саня, Саня, – горестно сказала она, – до чего ты дошел, боже мой, полжизни ты мне убавил своей пьянкой. Был человек, стал Сашка. Ведь света белого не видишь из-за водки проклятушей! Ведь не пил же ты эдак раньше, вот и Машку привозили, не пил. Меня совсем ни во что не ставишь, издеваешься, все нервы вымотал, глаза бы не глядели! Брошу я тебя, уеду к кому-нибудь из ребят.

– Жужжа шы шам, – сказал Кирпиков.

– А не нужна, так все равно не вернусь. Под окнами просить пойду, и то легче. Эх, Саня, – говорила Варвара, – а ты-то кому нужен? Сдохнет твой мерин, и кто о тебе, кроме своих, вспомнит? Пенсию выработал, живи, радуйся. Это кто же влюбит твою пьянку? – говорила она, качая головой. – Кто тебе запрещает в праздники или после бани выпить, кто? Ведь выпить можно, напиться грех. Когда я тебе в рот глядела или стакан вырывала? Грязный ведь валялся, до чего дошел, совсем от тебя человека не осталось.

Смотреть на жену означало смотреть правде в лицо. Кирпиков смотрел. Такая вдруг усталость подперла, сердце заболело, голова закружилась.

– На! – сказала Варвара, доставая вдруг полную бутылку и стучая об стол. – На, залейся. – И вставные зубы принесла.

Смена политики давно не влияла на Кирпикова: Варвара все перепробовала в целях воспитания. Вот бутылка, вот возможность говорить – сразу две прихоти ублажила.

А он и не заговорил, и пить не стал, сидел понурясь. Жалостливым видом своим он приутишил злость жены. Уже на излете сердитости она пожелала:

– Всю стрескай.

– Прижимает, мать, – сказал Кирпиков, потому что почувствовал, что и лежать не мог и сидеть трудно, попытался встать – сердце ощутимо застучало.

– Легко ли!

Ему бы к фельдшерице, но он постыдился беспокоить ночью людей, отнес недомогание на выпивку и стал мучиться в одиночку. Какое ни бывает сильное участие к страдающему человеку, человек одинок в боли.

Впервые в жизни он дал повод своей жене стать сильнее его: хворала чаще она, а он злился, что вечно не вовремя, с ним же ничего не делалось, ни одна холера, по его выражению, его не брала. Что только он не вытворял над своим здоровьем: потный купался; неделями на лесозаготовках мял сухомятку; спал урывками, сунувшись в угол; пил из весенних луж в проталинах, куда на первое тепло сползались живучие насекомые и уже головастики начинали дергать хвостами. А фронт!.. Все, вместе взятое, не означало, что он умышленно издевался над собой, так уж выходило, что он первый лез в воду на сплаве, работал в лесу еще при лежневках, когда не было котлопунктов, спать обычно бывало некогда, ждала работа. Не видя выхода, он придумал, что он трехжильный, что суровая жизнь есть закалка. Одна жила, говорил он, у всех, две кой у кого, а три у тех, на кого вся надежда. Но что такое беспредельная закалка, как не изнурение?

– Тебе говорили, тебя предупреждали? – почти радостно говорила Варвара. Она помогла раздеться, лечь в постель.

Вскоре, видя побледневшее лицо мужа, его вялость, перестала злорадствовать, стала жалеть, но и жалея, упрекала и подчеркивала, что вот допился, что она всегда говорила... словом, то, что уже говорилось сто раз, но не действовало и должно было подействовать именно сейчас.

– Нету, нет, Саня, такого молодца, чтоб поборол винца.

Чувствуя себя унижительно от своей слабости и стесняясь, что вызвал столько хлопот, Кирпиков уверял, что все нормально, сейчас засадит стакан и встанет как миленький. Варвара и в самом деле налила, но на водку было рвотно смотреть.

– Убери! – велел Кирпиков. И попросил: – Открой окно.

Легче стало дышать.

– Живой бы воды сейчас, – помечтал Кирпиков, – а не эту заразу. А вот нет, сколько ни хочется, нет живой воды. Сколько сказок – живая вода. А в жизни нет и нет. Ну хоть бы кто раз в жизни спросил, с чего пьем.

– Спи уж! Лишь бы на кого свалить.

Было уже поздно. Если бы Кирпиков мог приподняться, он бы увидел, как светлыми точками в мягкой темноте скользят пассажирские поезда. Но и не приподнимаясь, он слышал стук колес; когда он стихал, слышался лай собак. И прохожих не было в этот запредельный час, и луна по-прежнему отсиживалась за тучами, но собаки усердно лаяли и въедливо слушали, лает ли сосед и лает ли сосед соседа, а если сосед соседа молчал, то дружно лаяли на него – и бедный пес вынуждался лаять вместе со всеми.

3

Всю ночь маялся Кирпиков. Никогда не ходивший к врачам, он напугался своего состояния. Он пытался встать, но слабость валила обратно. Под утро ненадолго уснул и проснулся весь мокрый. «Пропотел», – обрадовался он. В открытое окно сквозило, пахло свежими опилками, навозом, угольной гарью. Рваные тучи резво подхлестывались ветром. Медленными лебедями проплывали по стене солнечные пятна. Кирпиков встал, накрошил в ведро с водой хлеба, надавил десяток вареных картофелин, посолил.

На крыльце зажмурился – так остро сверкало солнце в лужах. Чувствуя тяжесть ведра и все-таки не отдыхая, чтоб не тешить болезнь, он открыл конюшню.

Мерин не сразу начал пить из ведра – ждал команды.

Команда последовала:

– Приступить к приему пищи!

Мерин склонил морду к ведру.

– Эх, милый, – обессиленно заговорил Кирпиков, – попадешь ты в лошадиный рай, а я в человеческий. Что ж мы друг без друга будем делать? Пожить бы еще лет полста, а? Да нет, много. Лопай, лопай. Как запрягемся на декаду, смотри, чтоб ударные темпы...

Хотелось сесть, но Кирпиков не сел, стал вытаскивать из угла заржавевший плуг. Потянул за ручки – и ноги подломились. Упал на сухую солому, ударился лицом о лемех. Сердце захлебисто застучало, потом оборвалось.

Он хватал ртом воздух и не мог вдохнуть: сухая пыль стояла в горле...

Варвара увидела его около конюшни, откуда он еле-еле душа в теле выполз и лежал, подтянув ноги к груди.

– Нализлся уж! – закричала она и испугалась: во всю щеку шел красный порез.

Виновато улыбаясь, он прошептал:

– Все, мать. Вот мне и позвонили. Иди объяви всем, что я околел.

Фельдшерица Тася, как и все, заинтересованная в Кирпикове, пришла по первому зову. Диагноз, поставленный ею, был таков:

– Не те ваши годы, Александр Иванович, чтоб так храбриться.

Три курицы отдали жизнь за жизнь Кирпикова. Три грудные куриные косточки собрал он и трогал сухими пальцами.

Таковыми косточками, похожими на уголок, играют дети. Берутся за концы и со словами «Мне на память, тебе на камень» раздерибают. Кому достанется часть побольше, считается, что он умрет позднее. Когда приезжала Маша, они тоже так играли. Кирпиков держал косточку за самый кончик, а Машу учил держать около уголка – и Маша побеждала. «Я никогда не умру!» – говорила она. «И правильно!» – одобрял он. Вот бы приехала, она б его живо растеребила, поставила на ноги, повела бы смотреть секретики. Когда он был маленький, у них не было такой игры: копается ямка, туда кладется разный красивый сор – стекляшки, камешки, тряпочки, – потом ямка закрывается стеклом и засыпается. И сверху ничего не видно.

У них с Машей был сделан большой секретик. Они пили чай. Маша болтала ногами, вертелась за столом и довертелась: разбила чашку. Миленькая, как она испугалась! Кирпиков думал – палец порезала. Нет. Ревет-уливается. Из-за чашки? Всего-то? Кирпиков схватил свою, которая досталась еще от деда, и хлопнул об пол. Маша все равно плакала. Он стал совать ей тарелку: «Бей, Машенька, бей». Маша понемногу успокоилась. Тогда они подмели осколки, выбрали красивые и сделали секретик.

Впервые став беспомощным, Кирпиков оказался великим занудой. Весь он изнылся, истонался, загонял Варвару до того, что она уж и не рада была, что муж дома, а не – прости, Господи! – в пивной. Он все посылал звонить невестке.

– Пусть Машку везет. Ты понимаешь русский язык? Иди звони.

– Господи, и болеть-то нормально не умеешь, – злилась Варвара.

Кирпиков приподнимался на кровати.

– Ты знаешь, – говорил он проникновенно, – я много сейчас думаю.

Варвара попадалась на удочку.

– Ну, хоть додумался, что пить нельзя? Хоть додумался, что за всеми не утонишься?

– Да, мать, надо тормозить. Да я уж и перестал. Ты знаешь, я ведь и не жил еще.

– А кто за тебя шестьдесят лет жил?

– Не знаю. Только не я. Я еще и жить не жил – вся жизнь одним махом: ломал хребтину, тебя обижал...

– Хоть теперь-то понимаешь...

– Вся жизнь из-под седла да в хомут, дети все мимо прошли, дня от ночи не отличал.

– Да, Саня, ох неналомный ты был.

– Надо мне с моей жизнью проститься и жить по новой системе. Перестроить свое заведение. Ты меня прости, зла не помни, я не виноват, что так меня крутило.

Варвара уходила кормить оставшихся куриц, мерина, шла в магазин, где бабы и продащица Оксана спрашивали, когда же Кирпиков думает копать одворицы: погода подпирает, земля сохнет.

– Да уж как-нибудь, – вздыхала Варвара и возвращалась домой.

Но однажды Кирпиков довел ее.

– Хорошо ты устроилась, – сказал он, – очень хорошо. Богу помолилась.

– Из-за тебя, лешего, молитвы ни одной не знаю! – со слезой закричала Варвара. – Поехала на Пасху со старухами, всю обсмеяли. Говорю: «Отче наш, ежели еси на небеси». Позорище, со стыда сгорела.

– Но раз уж ты уцепилась, верь, – опять начинал Кирпиков. – Если тебе больше не за что держаться. – Он начинал кашлять, и Варвара видела в этом знамение: кашель за богохульство. – Нет, товарищи, плохо мне – пусть будет плохо, а хорошо – пусть будет хорошо, не перед кем унижаться, сам достиг. Я сам себе бог. И новую жизнь начал тоже без него. Он за меня не пьет? Он бросил курить?

– Господи, Господи, – закричала Варвара, – думала отдохнуть перед смертью, нет, не даешь! Как на точиле живу. Какой к тебе лихорад прицепился, что ты меня травишь? Ухожу!

– Не бойсь, прорвемся! – закричал он вслед.

В тетрадке, которую держали на письма, он после недолгих мук творчества проставил сегодняшнее число, месяц, год. Написал: «Я родился весной в девять часов утра...» Дальше заело. Он посмотрел на часы, сверил по солнцу, как раз девять часов утра. Посмотрел в тетрадку – стоит сегодняшняя дата, время совпадает. И все разговоры его и заявки о новой жизни вдруг представились ему очень серьезными. Он встал – неуверенная легкость в ногах, но стоит же, не падает, сердце бьется, солнце светит, скоро Машка приедет, чем не жизнь!

Он умылся (немного заныла царапина на щеке) и в девять подсел к столу, снова посмотрел в тетрадку и засмеялся: получилось, что он родился десять минут назад и уже крестился умыванием. «В самом деле! – воодушевленно подумал он. – Надо по-хорошему развязаться с прошлой жизнью – и в новую!»

Он бойко, почти без ошибок начал строчить: «Я, Кирпиков Александр Иванович, находясь в полном уме и добром здравии, завещаю внучке моей, Марии Николаевне...» – тут перо споткнулось: завещать было нечего. Он обвел взглядом комнату, прикинул в уме: действительно нечего. Даже головой крутанул – вот это называется пожил. Его легко можно было упрекнуть в непоследовательности: то ему ничего не надо, то вдруг чего-то хочется завещать.

«А дед?» – вспомнил он.

Дед его перед смертью подозвал к себе любимого внука Саню и сказал: «Завещать тебе нечего, но только одно – до обеда не пей! Не водка затягивает, а опохмелка».

Кирпиков этим успокоил себя и начал заново, уже в другом духе: «Остановите маятник – Кирпиков покинул вас, чего и вам желает...» Он вовсе не желал всем останавливать маятник, но хитрая штука письменная речь: хочешь сказать одно, а говоря по-нынешнему, выкатывается из-под шарика другое. Кирпиков почесал в затылке и вновь занес ручку над тетрадью, но тут, как черт его поднес, ввалился Афоня.

До лучших времен тетрадь закрылась.

– Чего это ты? – Афоня пристально вглядывался в Кирпикова. – Морду-то где рассобачил, говорю?

– Об соху звезданулся.

Афоня достал из кармана посудинку и уже убежал на кухню за стаканами.

– Мне не бери! – крикнул Кирпиков. – Я больше не пью.

– За что поздравляю! – сказал Афоня. – Сколь людей из-за нее на корню гибнет. Умеешь пить – начальник, а нет – утрись. Ну, чтоб тебе не хворать!

– Я больше не пью.

– Значит, помрешь. – Афоня отставил было стакан, но так как замах хуже удара, а замашка произошла, организм приготовился, то он выхлебнул свою порцию, передернулся и поднял палец. – А знаешь, почему помрешь?

– Я больше и не курю, – добавил Кирпиков.

– Еще быстрее помрешь. Знаешь почему? Нельзя таким рывком – сорвешь шестерни. Надо постепенно скорости переключать, а то муфта полетит. Мотор, – он похлопал по левому верхнему карману, – в капиталку загонишь. Не веришь? Мне один рассказывал – у них мужик помер. На сплаве. Надсадился, лежит, просит: «Дайте хоть сто граммов». И нашелся, сволоочь, умник какой-то, говорит: «Не давайте, это вредно!» Главное – спирт-то был! И не дали! Врач потом сказал: если б выпил, жил бы. А ты таким рывком – это, Саша, под откос.

– Не буду! – твердо сказал Кирпиков. – Ты мой стакан тоже выпей.

– Смотри сам, – успокоился Афоня и выпил порцию Кирпикова. Делать ему больше нечего было, и он собрался. – Ну, давай! Я погляжу, да и тоже отрекусь от этой водяры. Лучше сэкономить. О! – вдруг сказал он, пораженный. – А как же за работу?

Это был вопрос по существу. Не брал Кирпиков деньгами, но те, кому он помог, разве отпустят, не отблагодарив. До этого времени хозяева выставляли после работы бутылку, она совместно распивалась, и все были довольны.

– Правильно! – воскликнул Афоня, уходя. – Бери деньгами.

Население поселка начинало волноваться. Картошка, вынутая из подполий, уже давала крепкие синеватые ростки, земля прогревалась, навоз на одворицы натаскан, а пахаря нет. Где?

– Небось не просыхает! – кричал обиженный пенсионер Деляров.

Круглая продавщица Оксана, жена Афони, тоже негодовала – на Кирпикове был долг в пять двадцать. Давался он Кирпикову натурой в счет будущей вспашки, будущее наступило. Оксана не постеснялась спросить Варвару, думает ли ее муженек отрабатывать денежки. «Болен он». – «Небось опился». – «В самом деле болен». – «Скрываешь». – «Спроси фершелицу. Дай я его долг отдам». – «Я уже сама отдала, если он не хотел мне помочь, так и скажи». И т. д.

Соседка Кирпикова, Дуся, говорила, что да, фельдшерица приходила, но сама же отвергла сердобольный вариант: «Спирту небось за вспашку притащила, вот и дует».

Бедная Варвара, раньше имевшая от весны и осени кроме огорчений все же и моральное удовлетворение как супруга знаменитости, сейчас не знала, куда деться. Никто не верил, что Кирпиков болен.

– Закрылся да хлещет!

– Коровьими глотками!
– Его поили, он думал – даром?!
– Мы не дураки, как некоторые думают! – кричал пенсионер Деляров. – Авансы выданы!
– Вы не дураки, – уважительно говорила Дуся, мать-одиночка. И в данное время вообще одиночка, дочь самокруткой ускочила замуж в город.

С приходом Афони наступила ясность момента. Кирпиков болен. Был. Выздоровливает, зря не орите. Больше не пьет ни под каким видом. За работу (тут Афоня сделал паузу) будет брать деньгами.

– Деньги – мера труда! – крикнул Вася Зюкин.
– Молчал бы! – оборвала его Оксана.
– А расценки? – бегая трусой вдоль прилавка, кричал Деляров. – Пусть покажет расценки! А подходящий налог он думает отдавать? А частносекторский? А комиссионный? А многодетный? А прогрессивный?
– Действительно, вот именно! – поддакивала Дуся.
– Платить по совести, – отвечал Афоня.

4

Кирпиков чинил упряжь. Сшивая ременные вожжи, резко продергивая дратву, он все больше оживлялся и все больше уважал себя – победил, выдержал натуру, действительно переродился. Визит Афони он расценивал так – приходило прошлое с его пережитками, но оно его не утянуло и уже не утянет.

Всю упряжь перебрал он, все проверил, добрался до кнута. Плетенный из узкой сырой кожи, кнут залоснился, почернел, черенок из вереса был как лакированный. Сколько раз этот кнут взвивался над меринком. И без того надрывался мерин, тянул воз, и казалось, вот-вот сдохнет – и останется воз в глубокой колее, в сыром овраге, но со свистом и руганью врезался кнут, обжигал кожу, и мерин дергался, чуть ли весь не продевался в хомут и выволакивал воз на высокое место. Старший сын Николай тоже мог помнить этот кнут. Дважды он попробовал его: первый раз, когда Кирпиков увидел сына курящим и чуть не оторвал папиросу вместе с губами, и второй раз, когда ребята возили солому на быках и в полдень убежали купаться. И заигрались, пикируя с деревьев, подражая Тарзану из трофейного фильма. Заигрались все, а досталось Кольке, сыну бригадира. «Бей своих, чтоб чужие боялись...» – так оправдывал себя тогда Кирпиков.

Через колено сломал черенок, отшвырнул к печке. Нет, никого больше он не ударит в своей новой жизни.

– Ну! – решительно сказал он, вставая, обводя взглядом свою избу: кровать, на которой он чуть не умер и выжил, тетрадь, в которой была запись о его втором рождении. – Ну, запевай «Дубинушку» на две недели.

Он выкатил из конюшни плуг, смазал взвизгивающее колесико.

– Выходи, – велел он мерину.

Мерин не шевельнулся. Наступила заминка. Не хотелось Кирпикову ругаться в новой жизни, но для мерина наша речь не делится на печатное и непечатное.

– Выходи, голубок, – сказал Кирпиков. – Будет твое имя Голубок. Или Голубчик. Ругань забудь. Начнем жить по-новому. Выходи, Голубчик.

Номер не прошел. Положение деликатное. Ругаться неприлично – пережиток, но пахать надо. Кирпиков хватился за пояс – кнута нет. Им хоть бы пугнул для виду. Мерин тоже мучился – хозяин заговорил с ним как-то непонятно. Пришлось легонько одноэтажно матюгнуться. Мерин облегченно вздохнул и вышел.

Варвара вынесла ведро с водой.

Но опять заминка – не пьет мерин, ждет команды. Пришлось скомандовать, не ехать же с ненапоенным конем – запалится.

– Приступить к приему пищи, – сказал Кирпиков и сморщился: так издевательски по отношению к труяге мерину прозвучали эти слова. – Ты тоже хорош, – сказал он с упреком. – Тебе дают самостоятельность, не матерят, а ты? Нет в тебе гордости.

– Может, еще дома побудешь? – испуганно спросила Варвара, думая, что муж заговаривается. – Окреп бы, а, Саня?

– Я бы побыл, – сказал Кирпиков, – но не от меня зависит – пора.

Солнце хлестало во всю свою теплынь и светлынь. Корешки каждой травинки крепили, холодная водица торопилась по ним вверх. Мальчишки старались выскочить из дому босиком. Даже ожидающий их справедливый подзатыльник был не помеха. Хотелось сигануть вдоль по улице, по лужам, но вдруг замечал мальчишка красных жучков-солдатики, присаживался на корточки и смотрел, как солдатики бегают взад-вперед, и пытался понять, куда они бегают, зачем, но бежали они пустые, без толку, и было их беготне только одно объяснение – весна.

И началась страда.

Поселок стоял частью на песке, частью на глине. Подзолистые были повыше и быстро высыхали, песок сыпался из-под плуга в отвал с шуршанием. Лемех продирался песком до блеска и пронзительно вспыхивал на заворотах, когда Кирпиков переставлял плуг в новую борозду.

Начал Кирпиков с одворицы Ларисы. Отказался выпить, его не неволили. Лариса подумала, что еще сто раз успеет отблагодарить, да и сто раз, полагала она, ему наливали и в долг и даром.

Ближе к пруду, на суглинках, земля была тяжелой, непроворотной. Там были огороды фельдшерицы Таси и почтальонки Веры.

Мерин, приседая от напряжения, продевался в хомут, плуг выталкивало вверх, Кирпиков обшибал ноги о вывороченные комья и камни и поневоле матерился.

Хозяйки просили перепахать второй раз, впоперек по вспаханному. Кирпиков не отказывал, но давал мерину и себе передышку. Мерину выносили искрошенную в тазу буханку хлеба, пахарю стопочку. Раньше стопочку Кирпиков принимал и, бывало, шутил: «На допинге идем». Сейчас отнекивался.

Мерин доедал хлеб, и снова они принимались за нелегкое дело свое. Кирпиков сбрасывал телогрейку, в следующем доме оставлял пиджак, потом стаскивал и рубаху и шел за плугом в шапке и в синей спортивной майке. Майку привез ему сын. Кирпиков поправлял падавшую с плеча лямку и орал на мерина: «Куд-ды, так-распротак, пр-рямо! Бороздой!» – и тому подобное, потому что ругаться пришлось: мерин одержал победу над именем Голубчик и сохранил прежнее к себе отношение.

После работы хозяйки зазывали Кирпикова в дом. Кирпиков и сам бы рад отдохнуть и поговорить. Раньше, когда он пил в каждом доме и переживал хмель на ногах, у него было непрерывное дурное состояние. Сейчас он смертельно уставал, но голова не болела, это радовало, хотя выпить с устатку, разогнать кровь ох как тянуло. Держался.

– Ну, не осуди, не побрезгуй, – говорили ему, пододвигая стакан.

– Нет, нет, – говорил он, – не заставляйте, не могу.

– Ну что такое для мужчины рюмочку?

Наливали побольше.

– Какая тут рюмочка, эка бадья. Ох, бабы, не тратьтесь вы на это пойло. – И переводил разговор. – Небогата наша земля, бессолая, да теплая, – говорил он, кладя на стул шапку и садясь на нее. – Ледник виноват. Ледник-от был, мать его конташку, и утанул на юг все наше плодородие. У них там всякие цитрусы, хитрусы. На нашей земле растут. Зато там у них холера, а у нас нет. Возьми на заметку – холера заводится в тепле.

– Хоть закуски поешь, – просила хозяйка.

Но обедать в чужом доме, не выпив перед этим, было уже совсем неприемлемо.

– Дома поем.

Хозяйки терялись.

– Ну, так чего, – говорили они, стесняясь, – уж больно хорошо вы помогли, Александр Иванович, деньгами возьмите.

– Не беру. – Кирпиков брался за шапку и уходил.

В другом доме повторялось то же. Мерин ел хлеб, Кирпиков пытался поговорить.

– Грамотешку бы мне, – говорил он, – я бы начальником стал. Я бы вас научил, чтоб вы хуже всех не жили. Грамотешки у меня маловато, а вы живите, и ладно. Ну народ! Хоть пень колотить да день проводить.

Ему пододвигали стакан. Он уходил. Его догоняли, совали деньги, он не брал.

– Примите мой труд даром, – говорил он и направлялся дальше.

«Что с мужиком случилось? – судили о нем. – Был человек как человек, сейчас неизвестно что».

Вопрос с оплатой труда Кирпикова решился просто – деньги стала брать Варвара. Хозяйки приходили к ней и совали кто три, кто четыре рубля. Варвара сначала не брала – и сложилось такое мнение: это Кирпиков подучил ее набивать цену. Откровенно говоря, Варвара была рада деньгам. Но, не ожидая от мужа ничего хорошего, уж не чаяла дожидаться конца посадки.

Муж возвращался домой к ночи, два часа выдерживал опавшего в боках мерина, после поил. Сам, не раздеваясь, валился часа на четыре. И то ли ему некогда было слушать, то ли спал крепко, но казалось, что все меньше и меньше лают собаки.

С рассветом он входил в конюшню, будил мерина, давал овса, а сам кашлял до изнеможения – сказывался табак. Но не курил.

– А ну! – говорил он, разбирая упряжь, и, горбясь, выходил со двора.

Жалостливо смотрела вслед Варвара и спрашивала:

– Когда свою-то картошку посадим?

– В порядке общей очереди, – принципиально отвечал Кирпиков.

Перевернутая борона весело волоклась по земле, отпотевший лемех пускал вялых зайчиков, отражая первое рассветное солнце.

Приехала невестка. Приехала одна, без Маши.

– Заживаться мне некогда, – сказала она. – Я взяла два дня за свой счет. Папаша, простите меня, вы, ей-богу, ненормальный. Иметь в своем распоряжении лошадь и... Памятник вам никто не поставит.

Обращение «папаша» Кирпиков не любил и ответил, что мерин этот не его, а на балансе, что рабочие лесобазы имеют право на вспашку, что за услугу внесли в бухгалтерию деньги.

– Быть у воды да не напиться, – пожалла невестка плечами.

– Жажды не испытываю, – надменно ответил Кирпиков.

И все-таки повернул коня к своему двору. Помог растрясать в борозды пряди желтого навоза, следил, чтобы пласт от пласта был на расстоянии лаптя.

А невестка стала приезжать вот из-за чего. Кирпиков по страсти своей к освобождению от всего лишнего решил, что хватит под картошку и трех соток, а остальное хотел засадить смородиной и малиной, чтобы было чем порадовать Машу. Но невестка решительно выступила против.

– Образования садовода у вас нет, а земли займете столько, что всю картошку вытеснит. Я стану приезжать, если вам трудно.

В уборку Кирпиков отдал свою картошку с лишних соток невестке. И раньше им посылали, но сейчас стало выходить, что картошка берется не в подарок, а как своя.

Злее обычного Кирпиков орал на мерина. Хотелось ему увидеть Машу. Вот уж кто помог бы ему утвердиться в новой жизни. Какая там пивная, да сгори она, пропади она пропадом, сто лет бы туда Кирпиков не зашел, если бы с ним была Маша.

Варвара привычно дивилась, как расторопна невестка, как ловко хватает из ведра и растыкает в бок пласта картошку, как в шутку, но энергично покрикивает на свекра. Варвара не любила невестку, но умом понимала, что их спокойному Николаю такая в самый раз. Не какая-нибудь разве-растряс-и из нынешних. И как раз с невесткой Варвара хотела поговорить о причудах мужа. Надо было урвать момент.

– Подарочек привезла! – крикнула невестка, меняя пустое ведро на полное.

– Ой да чего уж ты, да зачем? – отозвалась Варвара, а про себя посердилась, так как подарки невестка везла рублевые, но преподносила так, будто достала их по великому благу.

Конечно, Кирпиковы отвечали отдарком, и не рублевым, но все выходило, что невесткино не в пример ценнее. Главное в подарке – оригинальность, считала невестка, а Варвара думала, что главное в подарке – полезность.

Сажать картошку – не копать. Трех часов не прошло, как закончили. Варвара и невестка собрали пустые мешки и ведра и пошли в дом приготовить стол посидеть на дорогу, а Кирпиков отцепил от валька плуг, прицепил борону и стал ходить с угла на угол разравнивать участок.

– С успехом трудиться!

Держась за шляпу и начиная снимать ее для приветствия, показался за забором пенсионер Деляров.

– Нам бы этого добиться, – уважительно откликнулся Кирпиков.

Деляров обалдел и шляпу не снял, хотя как раз следовало приподнять ее: ведь ответили ему человеческим языком, не матюгнулись, как в былые времена. «Нельзя снимать шляпу – сильное солнце, вредно, – торопливо думал Деляров, да так и держал руку у полей шляпы, будто принимал парад проходящего строевым шагом мерина. – Значит, правда», – потрясенно думал Деляров. К правде относились слухи о Кирпикове: что на людях он больше не пьет, что притворяется бескорыстным, что собирать деньги научил жену.

– Спасибо, говорю, на добром слове, – сказал Кирпиков.

Он уже развернул мерина и шагал обратно, а мерин часто кивал, будто сообщал Делярову: пьем по ночам, деньги давай, слупим с тебя четвертную.

– Тпру, Голубчик.

Перевернув борону, Кирпиков положил на нее плуг, подошел к Делярову.

– Сейчас мне невестку провожать, так что смотрите: или подождете, или потихоньку сами начнете пахать. Сможете?

«На “вы” назвал!» – окончательно испугался Деляров.

– Сам, сам, – пролепетал он. Снял шляпу и подставил лысину для просушки жарким солнечным лучам.

Подарочек, привезенный невесткой в этот раз, был явно недешев. Это была заклеенная блестящей бумагой пузатая бутылка.

– Французский коньяк! – объявила невестка. – Разве не оригинально, в поселке – французский коньяк?

– Ой да матушка ты моя, да зачем хоть и тратилась-то, да ведь послушай-ка, что вышло-то.

И Варвара торопливо рассказала о перемене в муже.

– Может, язва открылась? – спросила невестка.

– Есть стал лучше, все подряд.

– Вот видите, – сказала невестка, – ничего их не берет, а молодые нынче из болезней не вылезают. Может, женщину завел? Не смейтесь, мамаша, мужчины такой народ, что... У нас

у одной в бухгалтерии муж выдумал, что прописали одиночный ночной режим, а через декаду застала с любовницей.

Но все-таки Варвара, отклонила домыслы о женщине как нереальные.

– Делать-то мне что, ведь, матушка, приходят, деньги ведь суют...

– Деньги брать, – решила невестка. – Давайте я отвезу, положу на книжку на ваше имя. Именно на ваше, мама. Мало ли что и как в жизни.

– Конечно, конечно, – горестно поддакнула Варвара.

Стол тем временем был накрыт. Пришел и вымыл руки молчаливый Кирпиков. Сели. Невестка содрала фольгу с горла, сняла оплетку, отвинтила пробку. Кирпиков не понял сперва, что в бутылке алкоголь, но невестка гордо сказала: «Коньячок» – и назвала цену.

Варвара ахнула.

– Да-да, – сказала невестка. – И не возражайте. И я очень вас одобряю, папаша. Пейте для здоровья по рюмочке. Вначале надо согреть рюмку, лучше бы, конечно, серебряную, в ладонях, а потом... – Видя, что свекор сидит и не греет в ладонях рюмку, невестка обиженно сказала: – Вы не верите, что столько дорого стоит?

– А чего ради врать-то? – спросил Кирпиков и, полагая, что рюмка такого питья не повредит его решению не пить, сделал глоток. И тут же испугался: – Это ведь я рубль проглотил?

– Больше, папаша, больше, – засмеялась невестка.

Но не смогла уговорить Кирпикова выпить и слила коньяк из его рюмки обратно в бутылку. Сама выпила (чтоб картошечка росла!), пообедала и собралась.

– Папаша, берегите себя, – сказала она, вернее, завела свою вечную песню, – смотрите, какой высохший стали.

– Ну так как, – решился сказать Кирпиков, – Машу-то привезешь? Я бы и сам подскочил за ней. Ты же видишь, что встал на твердые рельсы. Лето поживет.

– Загадывать вперед ничего нельзя. Может быть. Я собираюсь лечиться, Коля тоже посылает, это я только с виду здоровая, а так вся насквозь больная, такие анализы плохие, – она посмотрела на Варвару, та закивала, – так что не знаю, не знаю. Надо еще дожить. Ой, не пора ли?

Как ни возражала невестка, Кирпиков купил ей полные руки игрушек: механического робота, шагающую куклу, посудный набор. Ждать поезда не стал, говорить было не о чем.

– Что это у вас с Машей за секретки? – спросила невестка на прощанье.

– Да пустяк, – отмахнулся Кирпиков, а самого так и обдало радостью.

И тем более чтоб не делиться ею с невесткой, он чуть не прытью побежал к Делярову. Дом Делярова стоял рядом с афанасьевским, а немного ближе к станции дом Зюкиных, а еще ближе буфет Ларисы. Буфет Кирпиков проскочил с ходу, а у Зюкина застрял.

– Зайди-ко, зайди! – закричал Вася.

Кирпиков подумал: надо зайти. Давно обещал, да и собака сдохла, бояться некого.

Открыл калитку, от конуры на него... залаяла здоровенная собака. Рыжая с черными глазами. Подскочила другая, третья сидела возле груды пустых посуды и жмурилась от их блеска.

– А говорили... – начал Кирпиков.

– Та-то сдохла, – радостно сказал Вася, – в землю закопал и надпись написал, а эта... вишь, входит в доверие. Цыц, зараза! (Собака облегченно умолкла.) Значит, та-то собака, – продолжал объяснять Зюкин, – сдохла, цепь, как говорится, опростала, а свято место не бывает пусто, прицепили эту. Вот сортировкой занимаюсь. Чего только люди не пьют. – И он стал, показывая этикетки, перечислять: – Вермут – выпьешь, деньги вернут, еще называют сквермут вермут. Вот рислинг-кислинг. Солнцедар – солнцедар по печени. Вот палаческая-стрелецкая. Вишь, мужик с топором. Стервецкая еще говорят.

Собака на цепи снова залаяла, кося глазом на хозяина. Она старалась в первые дни службы поднажать, чтоб забылась предшественница. Беспривязная собака тявкнула за компанию, побежала к подворотне, никого не увидела и затявкала на цепную собаку: брешешь, дура, а на кого? Собака, лежащая у груды бутылок, уснула под этот лай.

– Ты когда пахать приедешь? – спросил Вася. – Там законно вздрогнем. – Он рискованно, но картинно отшвырнул бутылку из-под полевой горькой.

– Ни грамма! – решительно отрезал Кирпиков.

– Как с простыми людьми, так уже и выпить стало нельзя? – спросил Вася.

Чтоб не обидеть простого человека, Васю Зюкина, Кирпиков объяснил:

– Не советую по двум параграфам: первое – вредно, второе – жена тебя все равно исполыщет.

– Средство знаю, – сказал Вася. – Вот приедешь пахать, расскажу. Не тронет. Видал? – Он повел рукой.

И, уже уходя и торопясь, Кирпиков все же заметил кроме трех виденных собак еще четырех, да еще два щенка ползали среди зелени на подоконнике за стеклом и со двора походили на аквариумных водяных собачек.

5

Деляров замучился. Обратиться к мерину как следует он не умел. Попробовал ругнуться, но вышло так жиденько, что мерин едва шевельнул ушами, а Деляров перестал думать о пользе физического труда, и уже был готов заплатить энную сумму за пахоту, и уже не рад был, что связался с огородом, как пришло спасение.

Не успел Деляров сказать заготовленную фразу: «Ну, Александр Иванович, теперь я вас понимаю», – как мерин, заметивший свое начальство, налег так, что Деляров поволокся за плугом как на буксире.

– Попаши-ко, попаши в охотку-то, – поощрил Кирпиков и сел возле забора на корточки. – О! О! – крикнул он, не сходя с места. – Пр-ряма! Бороздой! И-эх! Так-расперепротак!

Деляров воспрянул. Он понял, что денег с него не возьмут, не платить же за покрикивание со стороны, и стал подвигивать на мерина и злобно прищлепывать по спине вожжами.

– Понужай, – одобрил Кирпиков. – Перед весной стоял в конюшне ровно печь, сейчас выработался. Ничего, в пользу.

Те оживление и радость, охватившие Кирпикова, когда невестка передала слова Маши о секретиках, прошли. Может быть, Маша просто говорила о разбитой чашке, но вряд ли привезут. Не поверят, что он живет по-новому, да и в самом деле, какое уж тут рождение. Не хотел мерина ругать, а лает чище прежнего. Курить бросил – лучше не стало, никакого облегчения. Когда болел и выздоровел и записал, что родился, казалось, что все будет как у новенького, а тут еще хуже – пахота тянется и тянется, выпивал бы, так и ускорила бы.

Мерин ленился. Деляров мученически глядел на Кирпикова, и тот, не вставая, покрикивал.

– Как свинья нарыла, – сказал Кирпиков в конце, – не родился ты пахарем, задницу отлягиваешь.

– Не скажите, – отвечал Деляров, – ведь я-то, что называется, практически впервые. Лошадь и упряжь казенные, сейчас нет частной собственности на подобные вещи, но ваш авторитет перед лошадью, ваше управление через окрик, которое напоминает руководство без непосредственного контакта...

– А чего пахарю-то не поднесешь? – прервал вдруг Кирпиков.

У Делярова была в загашнике бутылка водки, и он заранее предназначал ее на вспашку, но теперь-то за что? Любопытно! Пришел, посидел, поматерился, еще и поднесите ему! Ну наг-

лость. Выпьет да потом разлюли-любезную Варварку за деньгами пришлет. Негодяя, Деляров отправился в загашник. «Им ничего не докажешь, – подумал он, – лучше не связываться, кровь не портить. Слава богу, у меня гемоглобин в норме. А у них уж небось спирт по жилам течет. Никаких запросов». Копошился нарочно долго, надеялся, что совесть в Кирпикове заговорит и он уйдет. Но и Кирпикову захотелось уязвить этого дальнего человека, купившего здесь дом. «А кто в нем жил?» Уж и не помнил Кирпиков: многие уезжали. «Хоть на бутылку накажу. Ишь в пахари записался».

Смирившийся Деляров вышел, но все-таки заметил, что жидкость могла бы быть и в целях внешнего растирания, что, значит, зря наговорили на Кирпикова, что он прекратил губить себя, но раз такое желание, то конечно. Но другие не поднесли бы целую ноль пять.

– Пейте, только я не поддерживаю ваш тост.

Слегка позабытым жестом Кирпиков отщипнул жестяной колпачок.

– Вот, – суетился Деляров, подставляя банку консервов, – килька в томатном соусе. Закусывайте, но должен заметить, что рыба в томатном соусе не звучит. Хорошая закуска оседает в центрах. На местах только это.

Кирпиков поднес водку ко рту. Деляров сочувственно сморщился. Кирпиков размахнулся и выхлестнул водку на пашню.

– Чтоб росло! А это возьми поясницу растирать. – Он вернул Делярову начатую бутылку.

– А! А! – зааикался Деляров. – Тут я посажу плодовый кустарник.

Вслед за водкой Кирпиков вывалил из банки на пашню и кильки.

– Правильно! – воодушевленно вскричал Деляров. – Это же так плохо действует на кислотность желудка, на отложение солей, но водку-то вы зачем? Вы, значит, стали так оригинально истреблять? Правильно, ведь все равно сквозь организм она бы вылилась на землю. Хотя в видах здоровья советуют передовые врачи. Например, марочные выдержанные сухие виноградные вина.

– В самделе, – весело сказал Кирпиков, – волокитка марочное, я пока твою работу переделаю, а то смотреть противно.

Деляров заткнул водку тряпочкой и рысцой побежал в магазин. Кирпиков не стал перепархивать, мучить мерина, прицепил борону и избороновал как следует участок. Он решил больше не ехать никуда сегодня, хотя было обещано Афоне. Невестка выбила из графика.

Продавище Оксане, конечно, донесли, что мерин ходит по одворице Делярова, и она три раза переспросила, не ослышалась ли.

– Сухое?

– Да, парочку.

– Кирпикову?

– Я посоветовал. В видах опохмелиться.

– Водку ему, обманщику.

– Подносил, на пашню льет.

– На землю?

– Можете понюхать это место.

И бабы, клявшие водку проклятую, осудили Кирпикова. Как это можно – губить добро.

Оксана подала Делярову сухое вино. Он прочел:

– «Выдержка три года».

– Да еще три никто не брал. Шесть.

Деляров рысцой вернулся. Кирпиков уже сидел, немного клонясь вперед и влево. Сердце напоминало о себе. И он старался не сердить его. Деляров проявил интерес:

– Покальвает?

«Не будешь пить», – подумал он.

– Вы знаете, у меня был оригинальный начальник. Когда прощался, то говорил: пока живи. Это у него была такая шутка. Ну вот, как пожелали: каберне.

– На вшивость проверял? – спросил Кирпиков.

Он снял красный колпачок, потревожил пробку. Ее вдруг с силой выбило изнутри, и резкая пенистая струя вырвала бутылку из рук. Бутылка срикошетила о забор, потом, шипя, улетела на афанасьевскую сопредельную усадьбу. Вторую бутылку Кирпиков открывал с любопытством. Повторилась та же история, только бутылка усвистала к небесам и больше не вернулась, наверно, стала естественным спутником Земли.

Деляров мгновенно сносился за третьей. Но открывал ее сам. И хотя осторожно стравливал набродивший виноградный дух, все-таки половину вышипело. Кирпиков отпил, сплюнул, еще отпил. Еще сплюнул.

– Как вы метко выразились: на вшивость, – вздохнул, отдышавшись, Деляров. – Богат русский язык, но как встретишься с ним тет на тет...

– А ты не встречайся, – сказал Кирпиков. – Такой квас в жару хорошо. Вали еще за одной. Протрясись для пользы дела.

– Все свидетели! – закричал в магазине Деляров. – Он пьет!

– Разве это питье? – разочаровала его Оксана. – Водки ему втакарьте, все вам спасибо скажут. Ишь хочет выгородиться.

На одворице повторилась та же история. В этот раз Кирпиков угостил мерина. Мерин пошлепал губами.

– Удивительное воспитание! – восхитился Деляров. – А если бы вы поднесли смертельное питье, принял бы? Я, вы знаете, к тому, что мой начальник часто вспоминал, как царь, например, подзывает кого-то и дает выпить чашу. И тот знает, что там яд, и все же пьет. Конечно, сейчас другое, в наше время смертность сведена к нулю.

– Ты что, умирать не собираешься?

– Очень невежливо напоминать об этом.

Кирпиков посмотрел и душевно сказал:

– Я по-хорошему, не обижайся. Знаешь, взял бы ты да брякнул бы по прилавку: подходи, пей, знай Делярова! И на поминки бы не оставлял.

– И никого бы этим не удивил.

– Ты и так уж удивляешь, бегаешь, задницей трясеешь. Зря: от смерти не убежишь, еще ни у кого не получалось!..

– Я убегаю не от смерти, а от инфаркта. Сейчас люди возвращаются к земле, и я вернулся. – Деляров помочил в вине язык. – Да, вы знаете, букет далеко отстает. Хотя виноградные вина потребляют долгожители. Они хорошее пьют сами, а сюда – что останется.

– У меня собака взаперти сидит, никому не показывал, сырым мясом кормлю, – сообщил Кирпиков.

– Кобель или девочка? – спросил Деляров. – И что же?

– С жеребенка. Башку откусывает в один присест. На волю рвется. Скоро дверь прогрызет. Я боюсь, ты побежишь, а она за тобой.

– Вы шутите?

– Я-то шучу, а она и не облизнется.

Бутылка, неудачно запущенная, потревожила Афоню. Бутылка дошипела возле него. Он взгляделся – на свежей пашне деляровского огорода гуляли грачи. Вот это мило-здорово! А ему он думает одворицу пахать? Но как спросишь? Это же верх невежливости – помешать выпивке.

Даже допустим, думал Афоня, что огород ему сегодня не вспашут, это пусть, но вот что обидно: Кирпиков сел выпивать с Деляровым, а давно ли с ним, с Афоней, не захотел.

Целый ящик каберне привез на перевернутой бороне Деляров. Он бодренько приматюгивался на мерина. «На всю ночь загужуют», – понял Афоня. Спасение было в одном – помочь

выпить и умыкнуть пахаря. Небрежно любуясь вечерней зарей, Афоня стал прогуливаться по дворице и, конечно, был окликнут.

– А я вас сразу-то и не заметил, – застеснялся он. – Че, маленько сели отдохнуть?

– По случаю аграрного события, – объяснил Деляров.

– Надо, надо.

– Садись, Афоня, – сказал Кирпиков.

– Да что вы, ребята, что вы, я так просто, выйду, думаю, покурю...

Отказ был обрядом, который хотя бы на скорую руку, но надлежало выполнить.

– Давай-давай, – велел Кирпиков.

– То есть, конечно, логично, – пригласил Деляров.

– Эх! – крикнул Афоня, соглашаясь. – Дураков в больнице лечат, а умных об забор калечат.

Через полчаса Афоня опрастывал уже четвертую бутылку, удивляясь слабости питья, негодуя за это почему-то на грузин, хотя каберне было молдавское.

– Неужели так и пьют? И не косят? А пить да не косеть – так зачем пить? Парни, давайте остатки, пойду на водку менять.

– Меняй! – кричал Деляров, напившийся из жалости к потраченным деньгам. – Тару и нетто меняем на брутто!

А Кирпиков уже давно не пил. Морщась, он вздрагивал от шлепков Афони по спине. «Вот был мне звонок, – думал он, – и я хотел начать жить сначала, а ничего не получается, и если это никому не нужно, то у меня ничего не выйдет. Они рады, что я готов выпить, и всем лучше, что я буду как прежде, хотя прежде мне было плохо. Они отделялись от меня бутылкой, это была плата, а того, кому платят, всегда ставят ниже себя. Ведь дело не в питье, дело в унижении. Как выносили мне на крыльцо стакан, луковицу: «Спасибо вам, Александр Иванович». Как я выпивал, шутил шутки, и вслед мне: «Ты к кому теперь, Сашка?»

Афоня сходил домой и вернулся победителем. Деляров пытался встать на голову, так как по режиму пришел час тренировки кровообращения.

– Светленькой!

– Не буду, Афоня. – Кирпиков отвел стакан.

– Лишаетесь права голоса! – снизу вверх крикнул Деляров. – Без права переписки!

– Афоня, – спросил Кирпиков, – ты купил бы мебель за три тысячи рублей?

– А кто сомневается?

– Да я.

– Хошь, – сказал Афоня, – мешок денег покажу?

– Покажи.

– Выпей, тогда покажу.

– Не буду.

– Слышь, – сказал Афоня Делярову, – брось физкультуру. Сашка не пьет, в умные записался.

Деляров встал на ноги.

– Попрошу документы, – приказал он Кирпикову и отработанным жестом протянул руку. – Попрошу. – В сумерках рубиновым светом горела багровая лысина. – Три раза не повторяю. – Лицо Делярова краснело теперь уже от усердия. – Попрошу. Разговаривать будем в другом месте.

– Со стороны кто бы зафотографировал, – сказал Кирпиков.

– Александр Иванович! – вдруг узнал его Деляров. – Мы в расчете? Попрошу расписку. В счет угощения занесите осеннюю уборку. Подпись, число. Печать необязательна.

– Так и не выпьешь? – спросил Афоня.

– Время не теряй. – Кирпиков пошел к мерину, разобрал вожжи.

– Меня спасет природа, меня оживит земля, – бормотал Деляров, садясь на борону. Хорошо, что борона оказалась книзу зубьями.

– Простынешь, – предупредил Кирпиков.

– Не вижу смысла, – отвечал Деляров.

Он засыпал. Грезилась ему широкая пойма реки, и вся – его. И идет он, Деляров Леонтий Петрович, вдоль редиски, капусты, укропа, хрена, урюка и огурцов и включает на грядках цену: 2 руб., 3 руб., 5 руб., 10, 16, 32, 700, 800 и так далее в накопительной прогрессии. Идет он, солнце светит, и уже грядок не видно, сплошные цифры, сплошные нули. «В очередь! – говорит Деляров. – В чем дело? По одному. Указываю пункты быстрого прохождения для вашей пользы: фамилия, инициалы, происхождение, род занятий. Начинаем! Кто? Картошка. Род занятий? Картошка. Происхождение? Из-за границы. В землю! Следующий! Картошка! Происхождение? Из картошки. В землю! Следующий! Картошка! Туда же! Следующий!»

Все кружилось, туманилось в сознании Делярова. Он командовал, а на самом деле покоился на холодной, губительной для здоровья весенней земле, именно той, которая должна была спасти его.

– Питухи! – презрительно выразился Афоня. – И водка есть, а выпить не с кем.

– Как не с кем? – сказал, выплотняясь из мрака, Зюкин.

– Ва-ся! Держи.

– Собаку бы мне, – сказал Вася, приняв стакан и заранее вздрагивая. – Или бы хоть щенка.

После обилия собак, виденных у Зюкина, и после такого заявления Кирпикову стало интересно, и он попросил у Васи объяснения. Тот начал издали:

– Меня с детства лупят. Отчим лапти плел, так колодкой по башке зафугачит – каждый раз помирал. Поэтому я и маленький, по голове ж нельзя бить – от каждого удара ребенок сседается на мачинку.

– Ты короче, – недовольно сказал Кирпиков, – а то даешь вводную.

Он невольно вспомнил, что и сам под горячую руку «учил» детей. «А меня разве не учили? – оправдал он себя. – Как еще ребра-то целы».

Позволив себе роскошь вступления, Вася перешел к истории вопроса. История была известна: жена его бьет, когда он возвращается пьяный.

– А у меня баба дело туго знает, – весело сказал Афоня, – я мужик молодой, денежный, и она не выщелкивается.

– Я свою раскусил, – продолжал Вася. – Она по той собаке такой траур закатила, сверх нахальства. Обо мне бы хоть вполовину так пострадала в дальнейшем. Я помянул на законном основании, захорошел, да и ушел и... не с вами добавил? Ну, не важно. Домой иду, гляжу – собака. Думал, воскресла.

Афоня хлопнул в ладоши и показал Кирпикову на Васю: артист! Поглядел с сожалением на Делярова – эх, не слышит – и пошевелил его; тот пробормотал:

– Хорошо тому живется, кто записан в бедноту...

– Будете слушать? – обиделся Вася.

– Как же! Закуси. – Афоня протянул перья зеленого лука и сказал: – Дочери дали задание: вырастить лук и с линейкой наблюдать, на сколько идет вверх. Я говорю: наблюдай, но посади побольше. – И захохотал.

– Ну так вот, воскресла не воскресла, взял на руки, тяжелая, гадина, поднес к столбу, лампочка на нем горит, гляжу – совсем не тот коленкор. А, думаю, пока разбирается, я спать лягу, лежачего не бьют. И вот, братья, – Вася тряхнул волосами, – получилось событие факта, если вру, бейте по морде лица.

– Ну!

– Собаку пожалела, меня не тронула. Я это дело задробил – сейчас, если выпью, только чтоб какую скотину чтоб с собой. На зеленый свет! – крикнул Вася воодушевленно. – Собак лучше меня кормит.

– Жить хорошо стали.

– Тут другое, – сказал Вася значительно. – Это они поднимаются до людей. Жена читала: травы поднимутся до животных, а животные до человека.

– А мы докуда?

– До Бога.

– Сиди уж, Васька.

Кирпиков уж и не рад был, что остался. А выпил бы – и так же бы смеялся над Васиным рассказом, так же бы, как им, казалось, что выпивка оживляет. А в самом деле было противно. Мерин, понявший, что на сегодня пошабашили, успокоенно вздыхал.

Вася объявил:

– Начинаем наш маленький, но небольшой концерт. Мы с товарищем работали на Северной Двине, ничего не причиталось ни товарищу, ни мне, а также свое сочинение: «Посмотрите на меня, я маленьким родился, извините, господа, отец поторопился...»

Веселье разрасталось. Уже Афоня сообщил, что Васе много чести сидеть с ним, уже Деляров вскакивал и просил закрыть дверь на три оборота, уже прибежала дочка Афони, дважды он гонял ее за закуской, а под конец послал за гармошкой к Павлу Михайловичу. Но пришла Оксана и разогнала компанию. Мужа, однако, проводила без крика, и он ушел, ведомый дочерью.

Дочь, обзывая отца вождем краснорожих, говорила:

– За руль не смей, а то я знаю, что делать.

Оксана взялась за Васю, попрекая, что он тащит ей сдавать ее же бутылки.

– Критика мимо ушей, – заявлял Вася. – Ты план по стеклотаре на одном мне выполняешь. Ты лучше дай мне каку-нить живность.

– А ты-то! – упрекнула Оксана Кирпикова и, как он ни доказывал, что не выпил, не поверила.

– Да разве тебе чего докажешь? – обиделся Кирпиков.

– Ты своей Варварушке доказывай. Посылай свою страдалицу деньги собирать.

– Деньги и вещи согласно описи, – бормотал Деляров, – а также народное изречение: хрен с ём, подпишусь на заём! А также устное пение собственного творчества...

– Поднимайтесь, – говорила Оксана, – баиньки пойдем.

Кирпиков погнал мерина домой. Вдалеке раздался собачий лай, визг, потом все затихло. Видно, Вася не сплоховал...

И еще день прошел. Эти дни стояли теплые, ночью поднимался туман, заслонял лунный свет. Жалко: луна весной особенно хороша, а свет ее не доходил до земли, тратился напрасну. Лунное сияние могли видеть пассажиры тяжелых самолетов, но им предстояло долго лететь – и они старались быстрее заснуть. Одна только девочка с русой косой, командир октябрятской звездочки, смотрела неотрывно на облака сверху – и ей хотелось спрыгнуть и показаться на лыжах. Она поворачивалась сказать отцу, но тот спал и видел земные сны. Ведущий пилот и штурман также могли бы любоваться белыми полями облаков, если бы не считали облачность помехой.

6

– Гонят нас, конец марта. Утром метелит, днем распускает. Наст режется, под снегом вода. До чего едкая! Чуть не каждый день гоняли мины топтать. Так и называлось: мины топтать. Господи, Твоя воля, разберись и пойми, – говорила соседка Дуся.

– Ой, не говори, чего пережили, какую войну скачали, – подтверждала Варвара.

Они сумерничали. Все разговоры были о пережитом, потом переходили на нынешнюю молодежь, которая в их годы с мизинец ихнего не перенесла, что хоть маленько бы почитали стариков и что вообще не разбери-поймешь, чего делается: и парни охальные, и девицы – бесстыжие лица, и погода вертится, и мужики в две глотки льют, а ведь что бы, кажется, не жить: и телевизоры стоят, и в магазинах любой материи полны полки, носить не износить, и пенсию выдают, но уж больно молодежь непочетники, идешь по тротуару, так и прут навстречу, так и ссарахнут. А все от атома. От него, от него, леший бы им подавился. Да атом бы черт с ним! Бога забыли.

Но какие бы проблемы ни решил женский ум, он непременно займется решением одной-единственной проблемы – проблемы проклятых мужиков. И хотя поется в частушке: это слишком много чести – говорить про мужиков; хотя и сами мужики в припадке совести понимают, что не только разговора о себе не заслуживают, вообще ничего не заслуживают, тем не менее, тем не менее...

– Это чего же, – встрепелась Дуся, – второй чайник додуваем, как бы не опузуреть. Дак вот чего я начала-то: гоняли мины топтать, а не пойдешь – застрелят. Детей, правда, разрешали дома оставлять. Топчите, говорят, топчите, партизанам спасибо говорите. Так умучаешься, думаешь, хоть бы уж скорее взорваться.

– Ой, не говори, ой, не говори, – поддакнула Варвара.

Она все ждала стука калитки. Но нет – привычно протяжно тянулись составы да хлопало белье на веревке под окном.

– Дак не пьет твой-то? – Этим вопросом Дуся выдала себя. Не смогла утерпеть: уж слишком высоко взлетела история трезвости Александра Ивановича и была видна всем.

Но Варвара не поддержала разговор и ответила косвенно:

– Нарасхват ведь он. На кусочки растаскивают. Пей, Дуся, конфетами угощайся. Не пишет Рая-то?

Напоминание о дочери было ответным ударом. Дуся записывала нынешнюю молодежь в непочетники именно из-за дочери. Дочь Рая не стала посылать переводы, а была должна, считала Дуся. Рая выскочила замуж внезапно, покрыла грех венцом и переводами как бы искупала его. Но время прошло, и грех, видимо, оказался искупленным.

– Пишет, – ответила Дуся, – набрала мне и себе на юбку и кофту сколько-то банлону, сама привезет, что из-за пустяков почту мучить.

Варвара вернула разговор на воспоминания:

– Мне в войну другим боком досталось. Мужик в армии. Бригадир привел во двор жеребую кобылу: береги, отвечаешь лично, никому не давать, иначе под статью, вредительство. Ошпарю солому кипятком, тяткой иссеку, отрубей добавлю, а отрубей-то! – весь амбар выползаю, косарем скребу. Все понимала, матушка, говорить только не могла. Ухожу куда, с избы замок сниму, на хлев навешу. Сберегла. И так вторую зиму. Дрова на себе, воду на себе, но трех жеребят – двух в армию, одного на лесозаготовки... Ой! – вздрогнула от стука Варвара. – Не идет ли?

Обе прислушались.

– Ветром шабаркает, – сказала Варвара и этим выдала свое нетерпеливое ожидание мужа. И поневоле поделилась: – Боюсь, Дусенька, так боюсь, лучше бы выпивал. А как скопится да прорвет, дак... – Варвара замолкла, будто отшатнулась от ужасного видения.

– Какой ни есть, – вздохнула Дуся, – какой ни есть, а мужик. А без него-то вдесятеро тяжелей. – И поджала губы.

Мнение поселковых жителей сводило Дусю с Деляровым. Она не сопротивлялась, но боялась продешевить. Неизвестно еще, кто этот Деляров, да и хочет ли он сам, – словом, курочка была еще в гнезде, яичко не было снесено, и сплетня жевала несуществующую яичницу.

Дверь, по выражению Варвары, шабаркнуло, но уже не ветром. Вошел хозяин, вошел с такой силой, что по ошибке открыл дверь не в ту сторону. Дуся, взвизгнув, исчезла.

– Где? – спросил Кирпиков бледнеющую Варвару. – Где эти сволочные деньги? Дай их сюда.

– Саня, Саня...

– Дай их сюда, пойдешь по дворам и отдашь обратно. Сейчас же!

– Их нет, – выговорила несчастная Варвара, – их невестка увезла... на твое, на наше имя сберкнижку заведет.

– Так, – сказал Кирпиков и сел.

Пока он бежал домой, пока распрягал мерина, он уговорил себя не пороть горячку. «Невестка, – подумал он, – она и тут подтакалась, она и тут...»

– А ты, дура, – спросил он, – отдала? Ты, безмозглая, ходила по домам, меня позорила. На это у тебя ума хватило. Ум у тебя в два пальца. Муж не пьет, не курит, мало?! – Он посидел, обвел взглядом чисто прибранную теплую избу. – Забирай свои хунды-мунды и катись к своей невестке.

– Убей, не поеду. Выгони, ты сильнее. – Варвара чуть не плакала. Муж сидел мрачно и неподвижно, и слеза в голосе не понимала его. Тогда Варвара пошла в наступление: – Не имеешь права выгонять, дом на мне записан.

На ком был записан дом, они оба не знали, но Варвара знала закон – человеку без жилья нельзя. Но и это не прошибло Кирпикова. Он достал с полатей дощатый чемодан-сундук. В чемодан полетели платья, туфли (одна пара), полушалок, халат. Комкая халат, Кирпиков поглядел на Варвару, в чем она. Она была в халате.

– Расплодились, – сказал он о халатах. А по адресу зимнего пальто заметил: – В руках понесешь.

Варвара причитала:

– Только стали жить, детей на ноги поставили, нет, давай людей смешить. Не надо мне ничего, не складывай, голая уйду, будто я с них деньги спрашивала, сами суют.

– Не брала бы. – Кирпиков не забыл про мыло и полотенце, а последней снял и положил икону.

То, что Кирпиков подал голос, поощрило Варвару.

– Суют! На порог подкидывали... Да много ли и денег-то было, да чего и стоят нынешние то деньги...

Чемодан не закрывался. Кирпиков думал, что из него выкинуть.

– Больше не деньгами, а вином приносили.

– Где? – спросил Кирпиков, отодвигая чемодан.

Птицей полетела Варвара в чулан и стала носить бутылки. Набралось изрядно, далеко за десяток. Бутылки светлого стекла хрустально сверкали, темного – отливали лазурью.

– Богатство.

Муж снял с гвоздя караульную берданку, взвел ударник.

– Стреляй, – сказала Варвара, – ни в чем я не виноватая.

– Отойди.

Прицелился в батарею бутылок. Щелкнул боек. Осечка.

– Люди сбегутся, – сказала Варвара.

Вторая осечка. Сменил патрон. Снова осечка.

Ярость, до сих пор сдерживаемая, выхлестнулась, и Кирпиков, перехватив берданку за ствол, пошел на бутылки врукопашную. Первым же ударом смел всю батарею. Брызнуло стекло, полилась водка, сивушно запахло.

Одна неразбитая бутылка покатилась под ноги Кирпикову. Он добил ее, как змею, прикладом сверху вниз. Только тогда берданка выстрелила. Оба посмотрели в потолок.

– Точка, – сказал Кирпиков. – Дай сюда паспорт.

Пока Варвара рылась в комоде, он хотел закурить. Руки тряслись. Он бросил горящую спичку в лужу водки. Спичка не спеша погасла. Он зажег другую спичку и уже специально стал поджигать водку. Не загорелась.

– Делают дерьмо, – сказал Кирпиков.

Варвара протянула ему оба паспорта. Он раскрыл паспорт жены на чистой странице. Взял ручку, крупно написал: «Свободна». И подписался.

– А убили бы? – спросила Варвара и заплакала от испуга.

С ней сделалось плохо, и Кирпиков стал отхаживать ее, побежал за водой на кухню, зацепился за чемодан и чуть не упал на осколки бутылок. «Виски бы водкой потереть, – подумал он, – и взять-то ночью негде».

На людей, как доказано, все влияет: расположение звезд, активность солнца, поведение луны. Может, этим объяснялось то, что Дусе не спалось. Она вертелась с боку на бок, вставала, зажигала свет и глядела на будильник. Думала о Делярове. Тот чувствовал это, спал плохо, вскакивал, пытался блудливо критикнуть порядки и все рассаживал картошку, а та, что была посажена раньше, уже начинала прорастать.

Доставивший домой очередную собаку Вася Зюкин спал на полу, не достигнув кровати. Перед сном он успел оскорбленно подумать: «Как собака, так пожалте мыться, а как мужик, так хоть бы поесть чего дала». В благодарность за приют вымытая новопривывшая собака подползла и подсунула себя под голову Васе вместо подушки. А на животе у него устроились сытые, крепнущие щенки из прежних приносов. Вася сгребал их вбок, но щенки упорно лезли на теплое место, заодно закаляя волю.

Плохо спалось и супругам Афанасьевым. Афоня время от времени поднимал голову и задавал жене любопытный вопрос:

– Тут, кроме тебя, еще другой бабы нет?

Холодеющий воздух носился по поселку, обветривались свежие пашни, зябла в земле картошка. Потревоженные черви восстанавливали свои катакомбы.

7

Наплюйте тому в бесстыжие глаза, кто скажет, что женщины ненасытны, что им много надо. Что им надо? Да ничего – одну заботу. Вымоешь в понедельник посуду – жена рада до субботы. Другая, правда, заботой считает жертву всем ради нее, но, повторяем, достаточно заботы.

«До самой бы смерти так», – думала Варвара, глядя, как растеряннo хлопочет муж. Ищет градусник, не находит, бежит на кухню и забывает, за чем бежит.

– Мать, тебе грелку на ноги или льду от Дуси из погреба принести?

– Сядь, Саня, сядь.

Когда мы боимся потерять друг друга, мы умнеем. Мы не вечны, надо дорожить друг другом, но увy, увy! Свои планы всегда кажутся нам важнее, и не посылаются ли нам болезни как напоминание о том, что мы не вечны? Сколько слез пролито из-за нас, мы бы захлебнулись в этом море, но, снова и снова прощенные, мы снова и снова пытаемся чего-то добиться, не понимая, что нужнее всех покоренных вершин радость дня.

– Все хорошо, Саня, сядь.

Кирпиков обессиленно сунулся в изножье кровати.

– Лекарь, – засмеялась Варвара, – с такими-то лопатами.

– А их не отмыть, не отпарить, – ответил Кирпиков и посмотрел на свои тяжелые сухие руки. Согнутые, будто специально, чтоб к ним приходились и топор, и лопата, и пила, и соха, и багор-пиканка, и вилы... да начни только перебирать – на третьем десятке не собьешься. И

все приходилось к его рукам, любой инструмент давался ему. – А у тебя что, лучше? – Он протянул Варварину руку, уже немного дряблую, всю в неровных напухших венах.

– Сравнил! У меня до костей простираны.

И Варварина рука была согнута, и тоже навсегда. То же самое, каким только инструментом не продлялись ее руки – и ухватами, и сковородниками, и коромыслом, и всякими лопатами: железными, деревянными, хлебными; граблями да теми же вилами, тем же топором, той же сохой.

Уж и поработали Александр Иванович и Варвара Семеновна на своем веку.

О, не одно европейское государство разместилось бы на поле, вспаханном Кирпиковым, какой альпинист взобрался бы на стог сена и соломы, наметанный Кирпиковым, какой деревянный город можно было выстроить из бревен, им заготовленных, сколько товарняков нужно было б, чтоб перевезти дрова, напиленные и расколотые им за всю жизнь, сколько людей согрелось бы у тепла этих дров!

А Варвара? Сколько перестирала она одного только белья – веревка сохнувших детских постирушек, мужниных рубашках опоясала бы земной шар; студеной воды, перетасканной ею, хватило бы налить большое озеро.

Только нет такой статистики, нет такого огромного поля, такого поднебесного стога, такой растянутой по экватору веревки с бельем, нет такого озера.

Они вдруг застеснялись, чего это ради разжалелись друг друга: жизнь прожили, никогда такого не бывало. Но этой весной каждому пришлось ощутить угрозу одиночества и испугаться его.

Кирпиков обратно разбирал чемодан, выкладывал назад Варварино имущество. Взяв икону, засомневался: при своем безбожии и при том, как час назад он ее в сердцах хватанул, как было ставить на место?

– Из-за тебя ведь только и молилась, – тихо упрекая, сказала Варвара.

– Ну теперь-то? – спросил Кирпиков. Он кашлянул. – За меня больше незачем молиться, пить кончено. Терплю. Это такой подвиг, мать! Заново родился!

Кирпиков подумал и отнес икону на полати, а место на божнице занял фотографиями детей и внуков. Внучка Маша встала в центре.

– Молись! – весело сказал Кирпиков. – Вот бы Машку совсем к нам!

– Какая мне еще Маша? – сказала Варвара, переживающая замену иконы. – Я свое досытечка отнянчила, отрожала. Это мимо тебя дети проскочили: работа да война, тебе и хочется поводить с маленькими, тебе она вместо игрушки, а питание, а купание, а заболит? Нет, нет, все! Отдоилась я, довольно.

– Ладно, мать, – примирительно сказал Кирпиков. – Ладно. – Он стал сгребать осколки к порогу. – Одно хорошее в этой водке, – сказал он, – пятен не оставляет.

Варвара пересилила себя и встала. Замела стекляшки к печке. В жестяной отдушине шумело. Ветер хлестал ветками по окнам.

– Бьется погода, – сказала Варвара. – В погоде – что в народе.

И оба невольно подумали о детях: как они?

– То-то у меня поясница давала знать, – сказал Кирпиков. – Я думал, сохой натрудил, а это к перемене погоды. Совсем барометром становлюсь.

– У меня тоже позвонки ломало.

– Да у тебя вечно что-нибудь, – привычно сказал Кирпиков, но осекся: жена больна, да и, видно, прошло время, чтоб ляпать чего-то не подумав.

Никогда раньше не думал, что и как говорить при жене, – не на трибуне, а вот, оказывается, как переходят на него же обратно его слова. Сделал жене плохо, и самому больно. Как будто стала нервная система одна на двоих.

– А мне когда плохо, – отвлекла его Варвара, – я всегда сенокос вспоминаю. А, Иваныч? Сердце-то от радости так и росло!

На сенокосе он всегда шел впереди, рассекая поляну надвое, за ним Варвара, а дальше, все суживая прокосья, косили дети. Младшенькая, еще не доросшая до литовки, растрясала валки и старалась успеть за всеми. Она приносила воду из родника-кипуна. Чайник вытягивал ей ручонку, холодная вода плескалась на исцарапанные коленки.

Кирпиков помнит, как он дошел до конца поляны, за ним докосила Варвара, наступавшая на пятки. Кирпиков наточил литовку и хотел начинать новый ряд, на свал. «Вот неналомный, – сдержала Варвара, – дай хоть отдохнуть-то. – Оглянулась и вдруг шепотом: – Отец!»

Он тоже оглянулся – дети догоняли их. Третьим рядом шел Николай, размашисто, по-мужицки укладывая траву; за ним Тоня, берущая нешироко, но чисто; дальше Борис, закусивший губу, нервничающий, чтоб не отстать; последним тюкался Михаил, прокосье вел неровно, маленькая литовка прыгала, все кочки были его. Всех сзади мелькало платице младшенькой.

Варвара не стерпела, побежала помочь. Но никто не уступил ей свой ряд.

8

Почтальонка Вера брала по утрам свою сумку и, придерживая ее рукой, бегом разносила почту. Привычка к бегу осталась от тех времен, когда поселок был еще большой, а дети Веры были маленькие, и она торопилась к ним. Стали дети большими, разъехались, разъехались и у других. Подействовало и то, что леспромхоз перевели дальше на север. Поселок сгрудился около станции – и его можно было легко обойти пешком. И в дом не к кому торопиться, пусто, но – инерция – все равно Вера привычно бежала, торопливо махая свободной рукой, как бы увеличивая этим свою скорость. «Куда это я бегу?» – думала она, проскочив поселок насквозь, и бежала обратно.

Вера первой узнала о торжестве у Кирпиковых и первой разнесла эту новость по домам. Зовут тех, говорила она, махая рукой, у кого Кирпиков пахал одворицы.

– Всем пахал дак, – говорили ей, – всех, что ли, зовет?

– Велели любому говорить: приползи, да приди.

Деляров долго чистил полуботинки. С утра он не бегал ни рысцой, ни трусцой, потому что из вчерашнего веселого вечера запомнил одно: Кирпиков научил собаку преследовать убегающего. Это надо проверить. Если собака есть, то реагирует ли на убегающего? Вообще Кирпикова за подобные шуточки надо привлечь куда надо.

Дуся тоже прихорашивала свою обувь и вообще всю себя, но цели ее были иные. Пора было доказать дочери, что ее мать умеет жить, и дать наконец дочери возможность произнести слово «папа».

Зюкин обувь не чистил, считая это роскошью. «Если я хуже собаки, то зачем?»

Ботинки Афони сорок последнего размера почистила жена Оксана.

Из прочих приглашенных явились: почтальонка Вера, суетливо начавшая помогать Варваре и разбившая уже пару стаканов (привыкшая к звону стекла, Варвара удивилась бы, если б ничего не били); фельдшерица Тася, по фамилии мужа Вертипедаль (она тоже начала помогать); ее муж счетовод Павел Михайлович Вертипедаль; буфетчица Лариса, женщина необъятная, но энергичная; и продавщица Оксана. Не явились: жена Зюкина (она вообще сторонилась всяких обществ); лесничий Смышляев (его по причине удаленности не звали); лесник Павел Одегов; стрелочники Зотов Алфей Павлович и его тихая жена Агура, происхождением староверы (не на кого оставить дорогу); глухой пенсионер Севостьян Ариныч и дочь его Физа и прочие.

В передней комнате хозяин занимал гостей.

– В подкидного! – объявил он.

Сели в дурачка. Трое на трое. Первая команда: Афоня, Деляров, Оксана; вторая: Кирпиков, Зюкин и Дуся. Начались обычные присловья:

– Карта не лошадь, к вечеру повезет.

– Дама, за уши драла.

– Король, за уши порол!

– Туз, по пузе буц!

– Леонтий Петрович, вы карты держите так, что в них выпастся можно, – предупредила Лариса. – Я не играю, но должно быть честно.

– Да кому это надо подглядывать? – возмутилась Дуся.

Она оттого, скорее, возмутилась, что противная Лариса как-то фасонисто, по-городскому ломает язык. Пе-ет-ро-вич! Ишь! Дусю осенило – а ведь приберут мужика. Она торопливо подвела свою команду и поздравила Делярова с победой.

– А вы, дурачки, – сказала она партнерам, – тасуйте колоду.

Партнеру Зюкину было привычно сидеть в дураках, а Кирпиков был настроен благодушно. Раздавал карты и шутил:

– С дураков меньше спросу. На умных воду возят. О, козыри крести – дураки на месте.

И точно: Дуся благополучно предала свою команду еще раз. Она подпихнула Делярову козырную крестовую даму – мрачную брюнетку, – и Деляров дал полный отбой.

– Вам, Леонтий Петрович, сплошная везетень, а уж мне не везет в картах, так хоть бы в любви повезло, – пожелала себе Дуся.

Тут уж Лариса увидела в ней соперницу. Но легкомысленно не поняла опасности. Что может дать Дуся? Работу на приусадебном участке? А к Ларисе приходи в буфет и сиди до закрытия и после. Какое может быть сравнение?

Между тем поспел стол. Но женщины вначале пошли навести красоту. На кухне Варвара показала отбитые горлышки с целехонькими колпачками. Оксана попросила их себе. У нее есть процент списания на бой, и эти горлышки пригодятся. Но вообще, конечно, Кирпиков-то как бы не того. Женщины посмотрели на Тасю. Тася объяснила, что того или не того, это устанавливают в области. Даже в районе редко. Но вот она поедет за лекарствами и зайдет к психиатру.

С тем и вышли к столу. Пока разливали, успели поговорить, что погоду крутит, но дождя нет, а хорошо бы, в самый бы раз на посаженную картошечку-то.

Встал хозяин дома. Он готовился сказать красиво, но только и сказал:

– Прошу выпить и закусить.

Надо было ему хотя бы чистой воды в стакан налить, хоть что-то поднять. А то странно получалось: хозяин не пьет, а гости, значит, угощайтесь сами.

– За все хорошее! – сказала Дуся и чокнулась с Деляровым.

Деляров сегодня не сопротивлялся. Красные прожилки на щеках и носу, проступившие вчера, просили освежения. Он выпил, Дуся пригубила. Вася долго озирался и не пил. Но за окном чирикнул воробей, и Вася подумал, что можно ведь и воробья поймать. И выпил. Об Афоне и говорить нечего.

Стали закусывать. Кирпиков не выпил, ему есть не хотелось. Готовая речь вдруг подперла, и он встал.

– Наши дети должны знать, из какого корыта ели первоначальную пищу. – Кирпиков хотел сказать о краях отцов и о дедовских могилах, но сбился: упоминание пищи из корыта прозвучало не к месту.

Вечеринка пока не ладилась.

– Эх, – задорно сказала Дуся. – Девяносто песен знаю, а молитвы ни одной! – Ей хотелось петь, танцевать, веселиться.

Влюбленные как-то забывают, что во все века любовь мешала жить нормальным людям. Например, Варвара очень осудила Дусю. «Доложилась! – подумала она. – Еще не допили, еще не поели, а уж за пляску».

Но любви и кашля не утаишь.

Павел Михайлович Вертипедадь, пришедший с гармоникой, сидя в зауголье стола, степенно наедался. Степенно заметил:

– Вот, Дуся, запомни: сколько здесь за столом посидишь, столько и в раю.

– Голодному цыгане снятся! – крикнул Зюкин.

– К убытку, – сказала Дуся и с вызовом посмотрела на Ларису.

Хорошо мужикам соревноваться – кто кого перепьет, тот победил, а бедным женщинам? Пьешь – осудят, совсем не пьешь – осудят, поешь – значит, хвастаешься, плясешь – высываешься. Как себя показать? Как свалить супостаточку-соперницу?

– Ну, громадяне. – Павел Михайлович поднял стакан. – Предлагаю за одну горечь.

Дуся заслонила стакан – не надо.

– Тебе для дури запаха хватает, – сказала Лариса как бы в шутку.

И Дуся приняла это как бы в шутку, но мысленно отметила выпад.

Вечеринка пошла нормально. Уже Зюкин пробовал пропеть: «Привезли да и рассыпали осины дрова, это все, – он обводил всех рукой, – это все интеллигенция со скотного двора», уже Павел Михайлович Вертипедадь отлаживал звоночки гармоники, Дуся постукивала каблуком, Варвара скатывала к печке половики, а хозяин сидел на кухне.

Не один. Его донимал Афоня.

– Так и запишем, – говорил Афоня.

– Так и запиши, – терпеливо повторял Кирпиков.

– Значит, сработал концевик? Учти, добром не кончишь.

– Учту.

– Значит, ты утром встал и пошел жить, а нам до одиннадцати ждать?

– Никто не заставляет.

В передней зазвенели колокольчики.

Делярову и не снилось, что за него началась борьба. Он сел рядом с Зюкиным и начал втолковывать ему, что в погребе у Кирпикова – взаперти! – сидит невинная душа.

– Я тоже от жены в сарае спасаюсь, – отвечал Вася.

– Но это душа не человеческая, а животного.

– А она меня тоже за скотину считает.

Первой ударила дробью Лариса и критикнула нынешние нравы:

Раньше были кавалеры —

Угощали карамелью.

А теперь молодежь:

Напинают – и пойдешь.

Дуся всплыла плавненько, начала хитренько, будто совсем не интересуясь любовью:

Председатель на трубе,

Бригадир на крыше.

Председатель говорит:

– Я тебя повыше.

Тут и Васина музыкальная натура не стерпела. Он сунулся в круг и стал мешаться под ногами:

Где ни пели, ни плясали,
Всюду девки не по нам.
Задумчивый мой товарищ,
Лучше выпьем по сту грамм!

Пошли было Вера и Тася, но быстро сшиблись, и остались на кругу две соперницы.

– Отец! – говорила Варвара, придя на кухню. – И ты, Сергей, чего вы здесь, айда-ко-те в комнату, больно добро девки-то распелись.

Радостная, она под музыку вспомнила подходящую ей частушку: «Я плясать-то не умею, покажу походочку. Мой миленок пить забросил распротыту водочку», – но осеклась: неизвестно еще, чем с «миленком» кончится.

Состязание в передней накалялось. Грузная Лариса как будто легчала на килограмм с каждой частушкой. Дуся, наоборот, худая, тяжелела, но не сдавалась.

Лариса пошла в открытую:

Я свою соперницу
Увезу на мельницу.
Мели, мели, мельница,
Вертись, моя соперница.

И лихо рассыпала дробь. Дуся попыталась поправить положение:

Я и пела и плясала,
А меня обидели:
Всех старух порасхватили,
А меня не видели.

Все-таки счастье улыбнулось Ларисе. Она, легко прогибая половицы, подпорхнула к Делярову и стала его вызывать. И хоть он и не вышел, но уважение показал, встал и потоптался.

Дуся подскочила к гармонисту, отбила такт и заявила:

За веселье, за гармошку,
Ой, спасибо, играчок.
Наигралась и напелась,
Так зачем мне мужичок?

И достойно вышла из круга. Лариса же, показывая, что может плясать бесконечно, вызывала по очереди всех кавалеров. Никто не поддался. Вышел, правда, Павел Михайлович. За гармошкой его заменил Афоня. Но плясал Павел Михайлович не азартно, работали только ноги, сам был как деревянный и напряженно смотрел вдаль, будто ждал спасения.

– Туфли ты мне, Оксана, подтакала плохие нарочно, чтобы я ногу сбила.

Вот на что свалила Дуся свое поражение, на туфли, купленные в магазине Оксаны. Дуся жалела, что в пляске не вспомнила частушку, которую так бы в лицо и вылепить этой бочкотаре:

Ты его мани-заманивай,
Я песни буду петь.
На твои колени сядет,

На меня будет глядеть.

Но время было упущено.

Глядя на пляску, Кирпиков испытывал двойное чувство: ишь напились, скачут, но скачут хорошо.

Пошли за стол по второму заходу. Афоня уселся рядом и продолжил свои разговоры.

– Ты был мужик от и до. От и до. С тобой можно было поговорить и посоветоваться.

– И говори.

Афоня посмотрел на Кирпикова как на ненормального.

– Как же говорить без выпивки?

– Не с кем стало выпить, вот что. Всего-то?

Кирпиков хотел наговорить Афоне упреков, но сдержался, отсел от него и, возвращая естественный ход вечера, запел «Хас-Булат удалой», а там пошли «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?», и, конечно, «Что ты жадно глядишь на дорогу?», и, конечно, «На Муромской дороге», и, конечно, все ямщицкие, и, конечно, «Враги сожгли родную хату». Тася так звенела, хватала такие верха, так солидно гудел Павел Михайлович, что никто не заметил, что в общем хоре не хватает двух голосов.

На крыльце шел разговор как раз в эти два голоса.

– После обеда полежи, после ужина походи, – говорил мужской голос.

Женский отвечал:

– Конечно, вы мужчина кубатуристый, в вас много войдет, это надо понимать и ухаживать, а то корова расплясалась и вас дергает. Надо же понимать, человек – сердечник.

Дусе, это была она, хотелось окончательно уничтожить Ларису перед Деляровым. С ним она стояла.

– Знаете, как ее зовут? Заврыгаловка. Это же ужасно. До такого сраму дойти. А чуть чего – на пару с Оксаночкой через все решета протрясут, обсплетничают, все кости обмоют. А я никого не держу, ни за кем не бегаю, но вас, вас жалко, как они хитро вас обурали. А вы еще такой доверчивый. И хозяин, этот пьюха! Вчера бутылки бил, я говорю: Тася, проверь, может, его опасно здесь держать.

Деляров вдруг повернулся к Дусе:

– Это правда, у него есть большая собака?

– Не знаю, – разочарованно ответила Дуся. Она думала, что Деляров решился ее обнять. – Хотите выпить? – интимно спросила она. – Я принесу. Пусть они там сидят. Много им чести с вами сидеть.

Пока она бегала, Деляров боязливо косился в сторону двора. Там была конюшня, и когда мерин переступал на полу, Деляров думал, что это такая порода собак – с копытами.

– Вот она, из Москвы приперлась! – объявила Дуся о своем возвращении. – Сперва я сама проверю, не отравлено ли. Оп! – Она отпила. – А теперь отсюда же... тяни! – Она резко перешла на «ты».

Порция была великовата, но в Делярове сработал инстинкт исполнителя. Он выхлебал содержимое.

– Закуси!

Он сцапал то, что дала Дуся, и даже не понял что. Дуся тихо смеялась:

– Мы как нынешние: хлоп – и на брудершарф.

– Что он сделал первым делом? – громко спросил Деляров. – Я спрашиваю, что он сделал первым делом по случаю войны? Он запер в туалете машинистку, чтобы не уткнула тайна.

– Простудишься, – ласково говорила Дуся, набрасывая петли шарфа на шею Делярова. – Я как выскочу с голым горлом, так неделю отгрохаю.

Она слегка затянула шарф. Деляров качнулся к ней. И как получилось, непонятно, только они обнялись. «Леонтий!» – сказала она, и он, трусливо трезвея, поцеловал ее. Потекло молчание. Из дома донеслось: «Не осуждай несправедливо, скажи всю правду ты отцу...»

– Если мы сказали «а», то должны сказать «бэ», дойти до «вэ», – сказал Деляров, – и вообще проделать всю азбуку.

– Леонтий, – как решенное сказала Дуся, – Кирпикову больше подносить не будем, вспахать ты и сам вспашешь. Ты же с меринком справишься. Вчера в магазин приезжал.

– Конечно, справлюсь.

Из дому через порог выпал Вася Зюкин. Деляров вспомнил свои опасения, поднял Васю и втолковал ему, что у Кирпикова есть собака. Вон там. Стучит лапами.

– Какая собака? – спросила Дуся. – Ты что, Леонтий?

– А стучит?

– Это в конюшне, мерин.

– Все, ребята, – сказал Вася Зюкин. – Мне конец. Эх, если бы хоть бы птичку. – И он стал подсвистывать голубей. Или воробьев. Кого получится.

Пьяные кажутся себе остроумными, способными на житейские и любовные подвиги, но на трезвый взгляд они смешны и придурковаты. А может, они и пьют оттого, что не сильные, не остроумные? Может, это и надо, чтоб человек подумал о себе лучше, чем есть? Как знать. Задолго до смутных времен сказано: «Бог нашей драмой коротает вечность. Сам сочиняет, ставит и глядит». Но у него-то вечность, а у нас?

Напевшиеся женщины пошли обсуждать, как жить Варваре дальше; за столом остались мужчины. Павел Михайлович отключил звоночки и подыгрывал только голосами. Он пел сам для себя грустную песню своей молодости:

Еще косою острою трава в лугах не скошена,
Еще не вся черемуха тебе в окошко брошена...

– Я тебя понимаю, так как уважаю, – говорил Афоня и все придвигался к Кирпикову. Тот соответственно отодвигался. Вскоре диван кончился, и пришлось говорить стоя. – Я тебя понимаю, ты встал на подзарядку. Но ты объясни почему?

Вернулся Деляров, спросил, есть ли чего с морозца. Уже все кончилось. В прежней своей жизни Кирпиков со стыда бы сгорел, что гостей не упоил вусмерть, а тут, наоборот, подумал: хватит. Хуже худшего опротивели ему пьяные Афоня, Вася да и Деляров.

– Где женщины? – спросил Кирпиков. – Куда разбрелись? Плясать и петь перестали.

– С чего петь? – нагло спросил Деляров.

– Ты с ним не говори, – заявил Афоня, – у него не все дома.

– Точно, не все, – сиротливо сознался Кирпиков. – Детей нет, внуков нет. Так мне и надо.

Женщины на кухне дотолковались до того, что Варваре теперь будет не жизнь, а каторга, а когда она в простоте душевной показала паспорт с надписью «Свободна», было решено – вот кукиш ему. Не пьет, не курит – это его дело. Такой дуры не найдет, чтоб все его дикости терпеть. И как только ему, седому бесу, дикотолому не стыдно! Не мог раньше вывихнуться, нет, он вначале чужую жизнь переехал, все соки выпил, да и вообще все мужики такие. И собрать бы их всех в одно место и бомбу бы бросить. Эх-хо-хо, жена да муж – змея да уж.

– Редко-редко бывают исключения, – вставила Дуся. Она вернулась с улицы посвежевшая от вечерней прохлады.

– Ой, а что это мы мужчин забыли? – сказала Лариса.

Пошли в комнату. Навстречу женщинам, пытаясь их облапить, пошел Афоня. Все увернулись, только Дуся не успела, застряла, но тут же стала выкручиваться. Афоня положил освободившиеся руки на гармонь. Стало тихо.

– Сейчас Сашка сказал, – объявил Афоня, – что у него не все дома.

– Эх, – сказал Кирпиков, – как смешно, не все дома. А у вас? Вспаханы у вас огороды? Посажено? Что еще? Копать? Выкопаю.

Гости начали расходиться. Павел Михайлович ушел с музыкой и увел Веру и Тасю, Афоню увела Оксана. Хотя Оксана публично и осуждала Кирпикова, но втайне мечтала, чтоб и ее муженек взял пример с Кирпикова. Горлышки бутылок с целыми колпачками Оксана не забыла.

Сложнее всех получилось с Деляровым. Он перепугался так, что Дуся предложила ему переночевать у нее. «Домой», – шептал он. Дуся и Лариса подлезли под его руки с двух боков и повели. Далеко у переезда затихала гармоника Павла Михайловича. Деляров сползал с плеча Ларисы и валился на более низкую Дусю. Пришли. Ни одна из женщин не решилась бросить его. Обе самоотверженно дежурили всю ночь. Поправляли подушку, совали питье, капли, растирали ноги, делали массаж, клали на лоб мокрую марлю, мерили температуру – словом, заматали Делярова к утру окончательно, заматались сами и только на рассвете уснули.

А с Васей случилось вот что. Жена его при настольной лампе читала книгу «Служебное собаководство». Вся свора дружно дрыхла. В дверь стали робко царапаться и скулить. Жена подумала, что вернулась с улицы последняя собака, и открыла. Вася Зюкин побежал на четвереньках к окну и завыл на луну.

– Фу, – строго сказала жена и стегнула его ремешком. Она прочла в книжке, что излишняя нежность вредит нашим четвероногим друзьям.

А хозяева? Кирпиков сорвал накопившуюся за вечер злость на Варваре. Ну, если чужие не понимают, должна хотя бы жена оценить, понять, каких усилий стоит прекращение одурманивания табаком и выпивкой.

И Варвара, только и ждавшая ухода товарок, чтоб рассказать своему Сане, чего они тут плели, плели, конечно, от зависти, а она не поддалась, тоже обиделась на мужа. И было с чего. Пошла на ночь лоб перекрестить, а на что? Иконы нет. Высунулась в окно – хоть бы одна звездочка.

– Ну смотри, Саня, все отольется. Ну смотри. Я думала, не пьет мужик, домолилась, допросилась, пусть Бог от меня отдохнет, – нет, видно, тебе, лешему, ничего не дорого. Да будь ты лучше пьяней грязи да живи по-людски.

– Пил – не считала человеком, перестал пить – опять не человек? Как же! Сашка-конюх да вдруг всегда Александр Иванович.

– Пей, да в меру.

Но что такое мера? Где она? Давно сказано: душа – мера, а душа у нас без берегов.

Ночевал Кирпиков на сеновале. Внизу отдыхал от страды Голубчик, сверху шуршал по крыше мелкий рассеянный дождь. Нет ничего лучше этих ночей. Сколько их было, много, кажется, а ни одна из них не продлилась.

9

Этот легкий, успокаивающий нервы дождь был первым и последним в этом году. Лето выпало нестерпимо жарким.

За рекой горели торфяники. По утрам небо затаскивало серым дымом. Солнце вставало рано, но поднималось медленно. Сквозь дым оно выгляделось красным. Светло-серые шиферные и выбеленные временем деревянные крыши нехорошо розовели, воздух стоял палевый. Курицы прятались, собаки бесились, старухи предрекали войну.

Но поезда шли точно по расписанию, мчались так же резво, колесные пары промелькивали так быстро, что заслоняли просвет под вагонами. Много пыли поднималось и несло след.

В лесу было тихо. Шиповник, рябины, елочки и все, что стоит с приходу, было в пыли как в цементе. Пересохшая трава ломалась и сама превращалась в пыль.

– Дождлся Африки? – поддевала мужа Варвара.

Лесник Пашка Одегов, приезжающий за едой, передавал, что огонь понизу идет к питомникам, что остановить его – задача невероятная, что льют жидкую глину, копают канавы, но все без толку.

Лесничий Смышляев с ног сбился, не разувался по неделям – шутка ли, такая жара, были случаи, что хватало искры из-под колеса. Отгребали все, что может гореть, от полотна, чистили лесосеки. Курили в рукав. Смышляев исхудал, выскался, по выражению Варвары.

А вот Кирпиков от жары раздался. Он тяжело переносил ее, ничего не мог поделать, толстел. Это Кирпиков-то, худыр – восемь дыр, раздобрел. Но и вернуться к курению не тянуло. Столько ночей, особенно ближе к утру, он надсадно откашлял. «Опять дрова рубит», – жалостливо думала Варвара. Передвигаться Кирпиков стал медленнее. Лицо разгладилось, видно, лишняя кожа ушла на живот. «И с чего тебя так разносит, батюшко? – спрашивала Варвара. – И ешь вроде немного». – «С голоду пухну», – отвечал муж.

Из других новостей были такие: всех собак жена Зюкина выгнала. Они разбежались по дворам, лаяли без разбору, от жары бесились. Может, не только от жары, но и оттого, что кончилась беспечальная жизнь. Ночами они перелаивались и корили друг друга – и чего было ссориться у общего корыта? Всем бы хватило. Все жадность наша, все раньше других надо, вот и получай. Нет, не умеем мы ценить хорошее, лаяли собаки и сговаривались пойти к Зюкиным с повинной. Но выгнали их вовсе не из-за грызни у корыта. Это объяснилось тем, что Вася один заменил всех. Он сам занимался по учебнику, вдобавок ему не надо было отдельно готовить, ел то же, что и хозяйка.

Любовный треугольник Дуся – Деляров – Лариса не распался. Деляров ходил по графику обедать то к одной, то к другой. Иногда женщины сговаривались и делали общий обед. Деляров позволял себе капризы. Он бросил бегать и рысцой и трусцой и выцыганивал поочередно у влюбленных по четвертинке.

Любая новость приедается, и к этой привыкли. Оксана даже с радостью: ее подозрения, что муж похаживает к Ларисе, исчезли, и она крякнула и денежкой брякнула – заказала привезти цветной телевизор. Рассчитала точно – Афоня пристрастился смотреть футбол и выписал со второго полугодия несколько спортивных изданий. К нему приходил Павел Михайлович Вертипедадь. За месяц они стали знатоками не хуже Озерова и мечтали почитать мемуары Пеле и Круиффа.

Тася тоже ездила в район за продуктами, заходила к психиатру, но он был на совещании, а ждать было долго. Да и зачем? Кирпиков на людей не бросался, в справке, что ударит и не отвечает, нужды не имел, и Тася, переночевав у деверя, вернулась в поселок.

Главное страдание Кирпикова было даже не в жаре. Не привезли Машу, а ведь это было ее последнее лето перед школой. И хотя и других детей почти не было в поселке, Кирпикову казалось, что невестка специально не пускает Машу к нему. В пивную Кирпиков не ходил, дни казались долгими. Он слонялся по дому, брался за тетрадку, в которой в апреле записал о своем втором рождении. Ему по-прежнему хотелось оставить свое жизнеописание. Начав уважать себя, он и жизнь свою представлял более значительной, чем раньше. Еще бы – он помнил лапти и ходил в них, а вот уж человек ступил на Луну, вот уж и сердце чужое стали вставлять, вот на заморозку людей кладут. Конечно, все эти свершения были достигнуты без него, и на Луне бы побывали, не будь Кирпикова вообще, но взять поближе – он помнил конную вывозку леса по лежневкам и застал лучковую пилу, а уже досыта нагляделся и на могучие трелевочные трактора, и на ленточные пилы. А война? Нет, Кирпикову было что рассказать. Но рассказать было некому. А раз некому, могло пропасть. Записать не получалось. «Грамотешку бы мне», – повторял он и наконец нашел занятие: сел учиться.

Книг в доме было немного, остались от ребят в основном учебники. «Собачьи» книги – «Каштанка» и «Муму» – Кирпикову не понравились: он не верил, что Герасиму обязательно надо было топить Муму. Ведь он же все равно уходил в деревню. Взял бы с собой, а там-то кто бы ее тронул? Также и в «Каштанке» хотелось поворота сюжета: уж очень фашистская забава была у сына столяра – привязывать мясо на нитку, давать глотать, а потом тянуть обратно. И к этому уходить от хорошего человека? Или уж судьба такая: не угодив хозяину – быть утопленным, а угодив – бежать от него?

Но в руки попала «Занимательная математика». И на ней Кирпиков застрял. И застрял именно на картинке: в разинутый рот великана входит состав, везущий продукты, съедаемые одним человеком в течение жизни. Цифры приводились ошеломляющие. Приходилось верить, хотя вряд ли Кирпиков съел столько тонн сладостей и фруктов, сколько называлось в книге. По картошке, может, и перевыполнил, но это же было в среднем на среднего человека.

Кирпиков не хотел бы, чтоб труд его и результаты труда, которые, в общем, сводились к питанию и одежде, были только в этом питании и одежде. Физический труд означал большее – он был радостью; когда он не давал радости, превращался в тягостную необходимость. Любой труд Кирпиков делал добросовестно, иначе не мог. При его сноровке и смекалке Кирпиков мог бы рассчитывать в жизни на что-то большее, но нужно было учиться, а было не до учебы. Он крепко следовал рассуждению, что если все будут ученые, то кто же будет ученых кормить? Кирпиков знал, что жил честно, а значит, хорошо, но если бы спросили, желает ли он такой жизни детям, он ответил бы: нет. Потому и выучил. И сверстники его учили детей, а те, подумав, он с усмешкой, воротили морды от родителей. Но это другой вопрос. Ведь все-таки учили. Страдали, что некому будет на земле работать, но время двигалось, урожаи убирались, и длинные составы с продовольствием шли в громадный рот среднестатистического человека. Помогли выученные сыновья – взамен себя послали на землю машины. Изнашивались они быстрее человека, но человек успевал сделать следующую машину. Уважение к машине заменило радость ручного труда, ничтожного в сравнении с машинным. Чего теперь жалеть серп, и косу, и лошадку с сохой, и топор дровосека. И уже пахарей и дровосеков в прежнем тысячелетнем виде можно будет скоро увидеть только в кино, и легко представить, как на них посмотрит Маша. Как на туземцев. А еще сто лет пройдет – кто объяснит? Какой труд приходил на землю во все века, что было на ней, матушке, до железных машин? Не зря же сейчас любую старину тащат в музей. Вот куда надо завещать сохи и прялки, зачем они детям, куда они с ними в своих квартирах? Но главное в большем – соху-то и прялку сохранить легче всего, но ведь при них человек был, о чем-то думал, при них не день, не два – жизнь проходила.

Икона так и лежала на полотах. Варвара обтерла ее и завернула в целлофан. К старухам она с тех пор ходила один раз. Начиналась жара, и они пугали разговорами о преставлении света.

Это преставление казалось Варваре сплошной чернотой. Она вспоминала свой давнишний сон, который был за ночь до выкидыша. Она тогда надорвалась на сплаве (лето было тоже сухое, вода быстро скатывалась, горизонты ее понижались, и всех мобилизовали «чистить пески»), ей бы только для виду налегать на багор, да она и поберегалась, но под артельную «Дубинушку» забылась – и ночью схватило. Она терпела, думала, пройдет, к утру отпустило, и вот она увидела сон. Будто бы она вынесла ребенка в розовой рубашке (значит, была бы девочка) и подходят будто бы три женщины, все в черной одежде. Вот и весь сон. Теперь он повторился.

Варвара проснулась и отнесла воспоминание на жару. Вышла на крыльцо – горизонт по-прежнему был блеклым, в полном безветрии воздух толкся на одном месте. Деревья, трава, забор казались засыпанными пеплом. Апокалипсическое солнце дожигало сквозь синюю полумглу сухую землю. «Преставление света», – вздохнула Варвара. Понесла пить мерину.

Бедному мерину тоже было тяжело. Исхудавший в посевную, он так и не сгладился. Прошлогоднее сено ломалось, было не едкое, сушило горло, а нынешняя трава сохла на корню. Он подолгу стоял у кормушки и ел овес. Но зубы были старые, и овес был не в радость. Мог бы хозяин его измелчить, но он совсем перестал заниматься хозяйством.

– Дома ли, нет ли мужик? – спросили из-за забора.

Варвара увидела – лесничий Смышляев. Они поговорили. Варвара поплакалась, что мужик совсем отбился от хозяйства, все молчит и как бы неладно не было, ведь бес горой качает. Второй день не видно.

Найти Кирпикова помог мерин. За разговором Варвара не закрыла мерина, и тот вышел. Но на улице было еще жарче, чем в конюшне, и мерин потянулся к Дусиному погребу. Он сунулся в него мордой и услышал родной голос:

– Куд-да, мать-конташка?

Мерина заперли обратно, Варвару Кирпиков попросил удалиться, а с лесничим начал разговор.

– Послушай меня. Ты их всех поумнее, – сказал Кирпиков. – Я тут сижу не только из-за прохлады, я думаю. Вот правильно – посохло. Значит, есть наше бессилие, назвали по радио безумие солнца, и где мы с нашей наукой? Трактор сделала наука, а ведь лошадию труднее управлять, чем трактором. Лошадь надо понять, а трактор только смазывать и подвинчивать. Я конюх. Вот и читаю – заносят в Красную книгу зверей, а меня кто занесет? Ведь я вымираю. У всех на глазах.

– Эх, Александр Иванович, и мой возраст подпер. И вроде занимался делом долговечным, а все не больше чем лет на сто. То, что сажал в парнях, после техникума, это уже поспевают. И вырубят. Сейчас посажу – снова сеча. Эти питомники у меня были с отросточков, как будто с детского сада. Сейчас горит школа, а там были бы университеты. В профессорах под топор.

– Я тебе завидую: тебе есть из-за чего переживать, – искренне сказал Кирпиков, – ты много сделал, а я? Да без меня бы обошлись. Пахать-то? Тьфу! Ради детей жить, так они ой как свободно без меня обходятся. Так мне и надо, – признался вдруг Кирпиков. – Они ведь послевоенные. А я вернулся – грудь в крестах, Россию спасал! Ну, спасал. Не я один, а сколько убитых? Наших-то во сколько раз больше погибло. Спасли. И вот били себя в грудь, вот гордились, а бабы все волокли да волокли. И детей я прокараулил, а ко внукам сунулся, да они как чужие. Во-от.

– Ты уж очень-то тоже чересчур.

– А уж чересчур не чересчур – толку не дам. Мебель эта в голову вступила – ведь она переживет березу. Значит, надо все перевести в вещи. Лен сгнил бы на корню, а, смотри, рубаху, если не побрезгуют, могут и сын, и внук носить. Надо и мне во что-то перейти.

– В любом случае станем частью природы.

– Я весь запутался, – признался Кирпиков, – и, кажется, то ли рехнусь, то ли пойму. Как башкой о забор. И не прошибешь, и щели нет. Вот меня бы и Машка Колькина научила. Я не смеюсь. Она рассуждает – о! В ее годы я с четверть ее не знал. А что ж дальше? Она с такой скоростью дальше. И до чего дойдет?

– До чего-нибудь дойдет.

– А вот в книжке написано – запустят ракету, она с год полетает, а вернутся сюда – здесь уже сто лет прошло. А год я бы спокойно полетал.

– Нас уж не возьмут, – засмеялся лесничий.

– И чего Колька думает, шел бы туда...

– Здравствуйте!

Перед ними стояла Дуся. В руках она держала кастрюльки. Кормила Делярова, принесла пустую посуду.

– Хорошо на холодочке?

– Как не хорошо! – простодушно согласились оба.

Дуся отнесла кастрюльки домой. В другое время она погнала бы от своего погреба, только бы пыль полетела, но сегодня состоялся значительный разговор с Деляровым. Лариса ушла на работу, и они посидели вдвоем. Деляров сегодня сказал: «Я избегаю нервных потрясений, а также соцнакоплений, – он хлопнул по животу, – а она все со срыва, со срыва и все мучное и сладкое. А также пиво. Это же вредительство. А почечные лоханки? Она о них думает?» Дуся интуитивно не стала ругать Ларису. Важнее было укрепить родство душ. «Я тоже зря не расстраиваюсь. Увижу, народ толпится, сразу не бегу, сначала узнаю, может, что дают, а может, кого убили». Еще немного поговорили. «Что назавтра?» – ласково спросила Дуся. «Что хотите, я вам верю». Сговорились на разгрузочном дне. Дуся отскребала кастрюльки и думала, что все-таки забьет Ларису. И будет у нее муж. Работник. Ежемесячная пенсия. Огурцы будет к поезду носить. У мужчин лучше покупают.

Вдруг Дуся подхватила, побежала во двор. Ну точно – дверь в погреб нараспашку. Дуся успела застать фразу лесничего: «Говоришь, позднее понимание. И то слава богу, а если вообще без понимания?»

– Да при этой жаре, – закричала Дуся, – вы у меня погреб в два счета выстудите, тьфу, выпотите! Весь холод выйдет. Некому за меня заступиться. Вы ведь не продукты, зачем вам охлаждаться, а захотите, чтоб молоко не скисло, и некуда поставить...

Уж и погреб закрыла, уже и собеседники ушли, а она все продолжала разоряться: то ли действительно была рассержена, то ли просто щекотала голосовые связки.

Говорили же Кирпиков и Смышляев вот о чем. «Мне с ними со всеми противно, не о чем говорить. К чему? Я, конечно, попробую воспитывать, ведь надо». – «Ничего не выйдет», – сказал лесничий. «Почему?» – «Если кто-то чего-то понимает, то только сам», – сказал лесничий. И добавил, что хорошо, что хотя бы позднее понимание, а то чаще всего срок дотягивают вообще без понимания. Тут как раз и вышла Дуся.

На розвертях простились. Кирпиков помочь в лесу не обещался. «Мне простиительно: я этих пожаров перетушил – массу!» – «Конечно, сиди, годы не те». – «Во-от. Только и осталось сидеть да смотреть. И ты перестань скакать, иди на пенсию». – «Да если питомник нарушится, мне хоть в петлю». – «Все равно ведь вырубят». – «Для этого и растет», – отвечал лесничий.

– Заходи, – позвал он на прощанье, – я в зимогорах у Пашки Одегова.

10

Раньше или позже, но все понимают простую истину: надо делать добро. Лучше, конечно, понять ее раньше, а то желание делать добро появится, а сил не будет, что толку из бездельного желания. Есть оговорка: деньги. Скопившие их на обманах и спекуляциях к старости сентиментальны и легки на мелкие подачки. Купцы поступали размашистей – бухали состояние на церковь, спасались верой. Но денег у Кирпикова и в заводе не было, да и куда бы он их бухнул. Но сделать доброе дело хотелось. Он решил обойти поселок, ему будет не стыдно поучать – уж теперь-то безупречен. Побрился, бриться было легко, лицо гладкое, надел чистую рубашу и к вечеру отправился.

– Жених! – приветствовал его Деляров.

К нему первому зашел Кирпиков. Держался Деляров надменно, как восточный мужчина. Да, что ни говори, как ни воспевай облагораживающую силу любви, есть у нее и другая сторона. Вот пример – Делярова полюбили. По всем правилам он должен стремиться стать достойным любви, а он? Опустился, стал хуже ленивого кота, в голосе зазвучала руководящая нотка. Даже не встал с лежанки.

– Что ж это, дорогуша, твоя картошечка не растет? На объективные причины спишем? А питаться будем твоими оправданиями? Хе-хе. Если бы мои женщины не поливали...

– Хе-хе, – ответил Кирпиков.

– Бутылочку допить пришел? – продолжал Деляров.

– Подавись, – ответил Кирпиков и, легко вспоминая, как его честила Варвара, отделал Делярова как по печатному. – Запейся ты этой заразой, захлебнись и пропади с ней вместе пропадом. Ты где был в войну?

И Деляров встал и поправил подтяжки.

– Этого питья знаешь сколько в моей жизни было? – сказал Кирпиков. – Было его хоть пей, хоть лей, хоть окачивайся. Подзывают – стакан в зубы. И я радовался. И что? И дошел, что засыпал и просыпаться не хотелось. Теперь ты горюешь, что меня за стакан не унизишь, а хотелось бы, а? Но я по твоему носу вижу, что ты всю жизнь пил. Но кончик вылез. И ты скажи – пил? Тайком.

– Пил, – сознался Деляров.

– Чем еще занимался? Стучал? Закладывал? – Сердце Кирпикова зачастило, и он стал глубоко дышать и, как уже приучился за эту весну, тереть левый бок левой рукой. Нет, не годился он в обличители.

Когда Деляров остался один, ему показалось, что о нем что-то знают и что Кирпиков приходил намекнуть. Но о чем? Он стал вспоминать свою жизнь. Был он в этой жизни исполнителем чужой воли, а если делал подлость, то разрешенную, подлость эта прощалась, а прощение он всегда отработывал усердием. Не за что, не за что ему бояться.

Он слег.

Огородами Кирпиков прошел к Афанасьевым. Действительно, у Делярова всходы были получше, видно, и вправду поливали. Дело это было невиданное – поливать картошку. До всего дойдем, подумал Кирпиков. На том месте, куда он весной выплеснул водку, был посажен облепиховый куст.

Оксаны не было дома. Афоня ужинал. Не глядя тыкал вилкой и глотал то, что цеплялось. Читал комментарии спортивных обозревателей. Он спешил смотреть встречу на Кубок УЕФА.

– Здорóво, Сашка, садись.

Позывные донесли из передней комнаты. Афоня прыгнул туда. Влетел Павел Михайлович Вертипедадь.

– По другой программе сказка, – печально сказала дочь Афони.

– Давай я тебе сказку расскажу, – насался Кирпиков. – О живой воде.

– Там настоящие артисты, – печально сказала дочь.

Болельщики принялись за свое – переживать, составлять прогнозы, заключать пари, чья возьмет, словом, зажили так полно и счастливо, что Александру Ивановичу тут делать стало нечего. О нем вспомнили, только когда кончился футбол и Афоня выключил телевизор остывать. Ничья. Так что причиталось с обоих. Включать телевизор Афоня не разрешил.

– Твой отец, – сказал он дочери, – лучше тебя понимает. Главное, – обратился он к Павлу Михайловичу, – понимать мотор, и примут в любой организации. Я мотор понимаю. Дай мне самолет, я взлечу.

– А сядешь? – спросил Павел Михайлович.

– Посмотрим... А где Сашка? А чего он приходил?

А Сашка подходил к дому Васи Зюкина. Помня, сколько тут было собак, он взял палку, тишина во дворе смутила его, он подумал – затаились, и ногой пнул калитку. На траве двора лежал Вася. Кирпиков убрал палку за спину.

– Здорóво.

Вася встал, поздоровался и снова лег. История Васи была душераздирающая.

– Хуже собаки считала. Ты, говорила, хуже собаки. Я думаю: ладно, до собаки я дотянусь. Получилось. Стал даже лучше. Только это разве по совести – всех распустила, я за всех отду-

ваюсь. Дом стерегу, на прогулку сопровождаю, выдрессировала дрова колоть и воду носить. Это по совести?

– Надо помогать, Вася, – осторожно сказал Кирпиков, – я тоже никогда в жизни пол не мыл, а тут она прихворнула, я вымыл.

– Ты не путай, – возразил Вася. – Чтоб заставлять воду носить, этого в книге нет. Там перечисляется: бегать за дичью – ладно, приносить шлепанцы – туда-сюда, ходить за вечерней газетой – терпимо. Но на задних лапах ходить – это издевательство. Дураков нет. А вообще, знаешь, Саш, мне хорошо, – сказал вдруг Вася. – Наешься, напьешься – и спать! Бывай!

– Бывай, – грустно сказал Кирпиков, – плохо ты, Васька, живешь.

– Тебе бы так, – ответил Вася.

Кирпиков побывал у староверов Алфея Павлиновича и его тихой жены Агуры. Но толку не взял. Домик стоял близко к полотну, гремели поезда. Зачем приходил, Кирпиков и сам не понял.

Вот и кончилась душеспасительная деятельность Кирпикова. Медленно, миновав стороной пивную, он вернулся домой. В тетради записал: «Люди еще не доросли до моего понимания». Но что они должны были понять? Что пить нехорошо? Это они знали и сами. Курить вредно? Тоже знали. Что еще? Что надо жить хорошо? А кто спорит?

Напоследок Кирпиков взялся за огород. Поливал особенно усердно то, что любила Маша: горох, бобы, черную смородину. Только зря поливал: кусты горели на корню, крохотные ягоды ссохлись, листья свернулись и шуршали под ветром. Не у них одних, у всех против прошлого было плохо. Огурцы еще в зародышах сморщивались, желтели, чернел неотпавший цветок. Капусту жрали тощие живучие гусеницы. Сколь их ни обирали, даже куриц напускали, эти твари множились, подтверждая слова Кирпикова, что зараза заводится в тепле. Толщиной со свиначий хвостик выросла морковь, свекла затвердела, как мочало, репа и редька почему-то не сидели в земле и, как их ни обсыпали, высывались, побурели, стали жесткими. Лук был мелок, перья вяло стлались по земле. Только семенной, несъедобный, торчал прямыми сизыми прутьями.

Всюду, сказывали, был плох урожай. Но что там ни говори, а картошка-матушка не подвела. И мало ее было, и мелка, и язвиста, а была! Что интересно, на некоторых кустах родилась одна мелочь – белые мягкие завязи, на других же выросло всего по две-три картофелины, но крупные. «Важнее качество, а не количество», – говорил воспрянувший Кирпиков. На пробу на свежеварку он подкопал два куста. Картофелины-семенники не успели израсти, были тверды, только сверху почернели. Чтоб зря не пропадали, Кирпиков отнес их мерину. Тот не заржал, не упрекнул за долгое отсутствие, похрумкал картошку и снова замер. Только вздрагивал кожей, пугая мух. Он захандрил одновременно с Кирпиковым и сейчас был в том же состоянии одинокости, что и хозяин. Только, в отличие от хозяина, его состояние его не огорчало. «Мне бы лучше с тобой говорить было», – сказал Кирпиков. Мерин даже глаз не открыл.

Вечером Кирпиков затопил баню. Не топили ее уже давно, ходили в казенную. И сам же Кирпиков хотел ее раскатать на дрова.

– Что ты, старый, – прибежала в баню испуганная Варвара, – оштрафуют.

– Да я ольхой, от нее искр нет.

– Зачем?

Кирпиков терпеливо объяснил, что будет коптить мясо.

– Зачем? Осени тебе не будет?

– Мне уже ничего не будет.

– Ой, Саня, сковырнешься, недолгое дело. А все тогда, когда икону вынес.

– Принеси. Я тоже скоро поверю.

Слезы от сладкого дыма ольхи заставили их плакать.

Насушив сухарей, накопив мяса, Кирпиков решил увековечиться. Ни разу не фотографировался он просто так, только на документы, но сегодня, перед «минутой решительной», как сказали бы наши полководцы, было надо. Он решил разослать детям свой снимок и послать отдельно Маше. Надпись будет такая: «Без слов, но от души».

Еле-еле душа в теле поволокся он по улице. Рекламные фотографии на стене мастерской были разноформатны. На самых больших – свадебные: напряженные лица; также много было младенцев: голенькие карапузы поднимали голову; много семейных снимков: женщины с детьми на коленях, мужчины, положив руку женам на плечо. Были и застольные. Фотограф проследил весь человеческий путь – правда, без конечной инстанции. Он, конечно, снимал и ее, но для рекламы не поместил: никак не вписывалось соотношение вертикалей остающихся и горизонтали уходящих.

Все вышло хуже, чем хотелось. Фотограф высунулся:

– Заходи.

Кирпиков постеснялся сказать о большой фотографии. Попросил на паспорт. Он выдержал пытку включенным светом, напрягся, подождал, пока щелкнуло. Он думал, что получится на фотографии злой, но на восьми маленьких квадратиках, полученных вскоре, он выглядел просто уставшим, с темными подглазьями и худой шеей.

Никому он этих снимков не послал.

11

В отрывном календаре Кирпиков прочел, сколько людей на земном шаре рождается и умирает в одну минуту, но цифры ничего не сказали ему и не запомнились. Земля-матушка велика, находились чудачки, что шли вокруг нее пешком, и шли непрерывно по два года. И тут же другая скорость – космонавты за одну ночь обкручивались вокруг планеты раз по шесть, по семь. Земля – песчинка рядом с Солнцем, а Солнце – песчинка рядом с другими звездами. Но все эти сопоставления о разных скоростях, об одновременности рождения и смерти были слабыми подступами к тому, что хотел понять Кирпиков. А что он хотел понять? Обошелся ли бы без него этот мир? Тут он уже ответил: вполне. А близкие? Варвара? Дети? Но мог быть другой. Так что он был заменен со всех сторон. А Маша? Что Маша? И была бы Маша и была бы так же кому-то дорога. Ну, может, не так же. А может, даже и больше.

Ну ладно, все бы без него обошлось. Но он-то жил. Он-то жив. Он-то топтал землю, земля носила его шестьдесят лет. За что ему была такая радость – жить, чем он отблагодарил? Да ничем.

Последней точкой, поставленной в решении уйти, была беседа доктора биологических наук, переданная по радио в университете миллионов. Даже не вся беседа – один факт. «Человек, – сказал доктор, – начинает умирать со дня своего рождения. Уже первым своим криком, этим своеобразным сигналом-оповещением о себе, младенец убивает определенное количество нервных клеток коры головного мозга».

Самому Кирпикову горевать было нечего – пожил, но как поверить, что Машенька, которой семь лет, уже семь лет умирает? Он во многом запутался и должен был разобраться.

– Не обессудь, – сказал он Варваре, – ухожу.

– Куда? – испугалась она.

Он показал вниз.

– Господи! Не одно, так другое, не другое, так третье.

– Спросят, скажешь: уехал, не доложился. – Он заторопился, чтоб не слышать причитаний и ругани, а они, конечно, начались.

– Это ведь только сообразить – залезать в подполье. Не пушу!

– Пустишь.

– Через мертвую перешагнешь.

Кирпиков, сохраняя нервы, отодвинул Варвару от крышки подполья. Она отодвинула его. Еще пару раз туда и обратно.

– Это же смешно, – сказал Кирпиков. – Раз я решил... Отойди! Меня нет. Я записал, что умер. В тетради.

Варвара открыла подполье и спустилась первая.

– Как в могиле, – комментировал муж, появляясь следом. Он зажег керосиновую лампу.

– Ведь дом спалишь.

– Если спалю, будешь гореть не в простом пожаре, а в геенне огненной. Огонь с того света. Шутки шутками, я остаюсь. Неужели это трудно понять? Еще не так давно я это с тобой репетировал. Неужели повторять? От похорон избавляю. Приказываю долго жить.

Варвара вылезла.

– Закрой крышку.

– Из-за тебя, ирода, – сказала она, – я от Бога отшатнулась, ты же уговорил, думала, грешница, будешь жить по-путевому, эх! Людей ты не совестишься, иудушка ты безголовый.

– О мертвых или хорошо, или ничего. – Это было последнее, что сказал Кирпиков. Крышка захлопнулась.

Вначале (часа полтора) заточника одолевали светские заботы – надо было вытерпеть крики Варвары. Она упрекала, что он и умереть-то по-нормальному не может, что бросил, свинья, на нее все хозяйство – и лесобазу стереги, а такая жара, что нужны глаза да глазки, чтоб как бы чего, и конюшню надо чистить, и еду готовить. И все время ритмически она вставляла вопросы: ты вылезешь? ты перестанешь народ смешить? милицию вызвать?

Кирпиков мог бы возразить Варваре по существу на все наскоки. При чем тут народ и милиция? Он имеет право на отдых? Имеет. Заслужил. Пенсия так и называется: заслуженный отдых. Отдыхаю. Избрал вечный покой. На курорт денег нет; отдыхаю тут. Но любое объяснение спорно, поэтому лучше молчать.

Варвара сменила тактику. Она стала его выкуривать, зажгла тряпку и сунула вниз. Но он пересидел дымовую атаку около отдушины. Тряпка догорела, дым сквозь щели поднялся в избу. Варвара проветрила ее и скромно спросила:

– А вода есть у тебя?

Кирпиков откашлялся и не ответил. Варвара обиделась, что даже на заботу муженек не откликается, и притихла. Так они стерегли друг друга еще полчаса. Потом Варваре понадобилось идти кормить куриц.

– Надоест – скажешь! – заключила она.

Он осмотрел хозяйство: мясо, сухари. Из книг – «Занимательная математика» и «История». Взял «Историю».

Красивые слова обозначают потусторонний мир. Потусторонний. Уж лучше, чем бранный. Загробное, но царство. Царствие Небесное. Перешел в лучший мир. Лучший. На тот свет не просто идут, а возносятся. Нерешенное здесь мы поневоле откладываем на вечную жизнь, идем туда налегке.

Попытки фараонов и печенежских князей утащить с собой побольше барахла были наказаны – могилы их были разграблены лихими ребятами. А кто польстится на бедный холмик под деревянным крестом или металлической пирамидкой?

«Умер, – думал Кирпиков, – а что изменилось?»

Вот куда загнал его упрямый характер. Но он не жалел. Сам решил, надо терпеть. Он прибавил фитиль. Тепло, светло, и мухи не кусают. Тихо. Ни холодно ни жарко. Сравнение с тем светом как-то не приходило, скорее, его сидение в подполье напоминало гауптвахту. В картофельной яме можно было даже постоять и пошагать туда и сюда два метра. Около лестницы лежали остатки прошлогодней картошки. Они изросли, сморщились, выпустили целые заросли

длинных ростков. Кирпиков решил их обобрать и подать наверх, чтоб Варвара не лазила. Раз в неделю он будет также выставлять наверх пол-литровую банку варенья. Пусть пьет чай. Все раздумья были житейскими, и незачем было уходить в подполье, чтоб додуматься до таких мелочей. Кирпиков усовестился, но подумал, что не все сразу, время терпит.

В тишине все-таки было слышно железную дорогу. Исчезли ее скрежеты и лязги, она тукалась глухо, как будто трамбовали землю колотушкой. «А если еще глубже? – подумал Кирпиков. – Будет слышно?» Мысли его были дерганные, он вспомнил, как ждали железную дорогу, радовались, было оживление. Стояли и дальние, грузили круглосуточно строевой лес, рудостойку, потом дрова, бумажное сырье и вот сейчас подчищают остатки. И поселок стал не нужен. Еще думалось, что лесничий однажды говорил, что поклонился бы тому в ноги, кто найдет замену дереву. «А разве нет? А пластмасса?» – «Она же не разлагается, а сжигать – выделяет удушающий газ». Сейчас лесничему несладко и Афоне несладко, думалось Кирпикову. Хорошие они люди, может, и на Делярова зря наорал, а Вася-то, неужели так и останется?

Он все ловил себя на том, что мысли его крутятся вокруг оставленного наверху. Он великодушно, как пустынный, жалел всех и прощал.

Страшно было спать Варваре. Если бы ей сказали, что в подполье сбежалось сто чертей и домовых, она бы это легче перенесла. Нечистая сила, что с нее взять. Но под полом муж. Если бы хоть Варвара до этого пожила немного в городе, все было бы легче. Там быстро привыкаешь, что ты над кем-то и над тобой кто-то. Перед сном Варвара крепко поговорила с мужем, крепко его отрапортовала. Это была игра в одни ворота – муж не отвечал. «Подох уже?» – спрашивала Варвара, скрывая испуг. Но муж успокаивал – стучал по доске, – и она ругала его удвоенно. Все больше лешим. Она давно и, видимо, до конца застряла на этом ругательстве. Было оно ему как бессрочный паспорт. А ведь было время других прозвищ... Перенес он их множество: от рыжего черта и оторвибашки его путь лежал через галаха, вражину до слепого черта, бороны и глухой тетери. Сам Кирпиков был менее изобретателен: из души в душу да мать-перемать. А последнее время ругаться перестал. Причем раньше казалось, что отними у мужа нецензурные выражения, и обезьязычает. Нет, не онемел, но жену не осуждал. Ругает лешим, и ладно. Сейчас это очень подходило – сидел он в обители нечистой силы, был после фотографии небрит. И перетерпел: жена отступилась. Напоследок сказала:

– С тобой, лешим, никаких нервов не хватит.

Кирпиков надменно пожал плечами. Он выстоял, не ввязался в ссору и уважал себя. «А будет еще орать, – решил он, – уйду еще дальше».

Настала ночь. Оба не спали. Варваре казалось, что муж спалит дом, а сам пересидит в яме. Или что он будет вылезать и она сойдет с ума. Он-то уже сошел. Это было ясно. Хорошо хоть не буйный. И как она, дура, с ним, паразитом, связалась.

Варваре казалась загубленной своя жизнь. А ведь какие ребята к ней подходили – Витя, Коля, а она, дура, дураку поверила. Да неужели бы кто-то из них, Витя или Коля, полез в подполье? Варвара даже засмеялась.

Внизу Кирпиков насторожился. Слезу, ругань – все можно вынести, но смех? Сама с собой? Как бы чего не случилось. Нет, замолчала. Не дает ни о чем думать, поспать даже нельзя. Кирпиков слышал, что кто-то шебаршится, полез рукой, притихло. «И без меня так, – думал он, – кто-то здесь живет, а кто – не знаю. А я помешал. Всем мешаю. Нет, шуршит. Наверно, сверчок. Буду терпеть. Говорят, они по сто лет живут. Пусть живет: хлеба не просит. И всегда будет скрестись. Этот дом сгниет – в другой перейдет. Сделает норку, натаскает еды и засвиристит. Вот и смысл».

Ближе к полночи, когда через станцию пролетел скорый номер первый, Варвара решила пойти за помощью. Она крикнула: «Не спишь?.. Считаю до трех, не вылезешь – пойду за народом. Силком выволокут... Раз... два... два... с половиной... три!» Пошла и хлопнула дверью.

«Ружье-то забыл, – подумал Кирпиков, – ну, может, напрямую не пойдут, а осаду выдержу – питание есть. А то подкоп начну рыть. Да она и не ушла, стоит за порогом».

Точно – не ушла. Решила все перепробовать. Вернулась, легла и стала тяжело дышать, потом приставывать. Она знала, что сердце у мужа не ледышка, вон как он суется вокруг нее, когда ей стало плохо, когда бутылки чихвостили. Пять минут, не больше, стонала она, и муж подал голос:

– Чего?

– Плохо.

– Мать!

– Чего?

– Нельзя мне вылезать, поклялся.

– Дак и оставайся, меня и без тебя закопают.

– Ведь притворяешься, чтоб вытянуть.

– Вылезь, Саня, не срамись.

– Мать, я не вылезу. Я записал, что я умер, так и считай. Я первый об этом сказал.

– Мне и воды некому подать.

– Ты где лежишь? Около печки?

– Да.

– Так вода-то рядом.

– Ой, леший, – сказала Варвара. – Зачем полез?

Кирпиков стал спокойно объяснять:

– Я вначале хотел лечь на заморозку. Написал бы заявку и лег. Только ты ж знаешь Дуську, тем более она связалась с этим пришлым, погреба у нас нет, у нее. Она ж задавится от жадности. Я бы и свой выстроил, получше, но где летом лед взять? Поэтому я и залез. Дошло? Конечно, здесь хуже, не сразу отойду.

Варвара включила все лампочки в доме. Навалила на крышку подполья много тяжестей. Еле высидела до утра.

Утром она поглядела на счетчик. Первая ночь стоила ей пяти киловатт электроэнергии и остатков терпения. Нет, всему положен предел. Еще одну попытку, утреннюю, предприняла Варвара.

– Отец!.. Саня!.. Слышь, чего говорю?.. (Молчание.) Слышь? Пойду в милицию звонить.

– За что?

– Там объяснят за что. Вложат ума-то. Я пошла.

Она протопала над его головой.

Нет, не так, далеко не так представлял он одиночество. Ну что за народ? Радовалась бы – мужик дома, картошку перебирает, нет, надо ей милицию. Он крикнул:

– Радовалась бы! (Молчание.) Иди, иди! (Молчание.) О тебе же думаю!

– Нечего обо мне думать.

Не ушла.

– Я должен думать над смыслом жизни!

– Да ведь думал уже! Когда весной-то прихватило. Вот досидишься, опять схватит.

– Весной я ни до чего не додумался.

– А чего тебе здесь-то не думалось? В погребе два дня сидел.

– В погребе я хотел на заморозку. Повторяю. Заморозка на сто лет. Чтоб рассказать в точности от очевидца.

– Тьфу!

– Не тьфу! Я должен записать, чтоб стали жить хорошо, не пили бы, не обижали друг друга. Я напишу призыв к мужикам, ночью вылезу, налеплю у пивной. Может, опомнятся. А еще...

– Сказать кому, как с мужиком говорю, не поверят. Ты вылезешь?

– Варя, я должен понять, зачем я жил.

– Живешь – и живи. Я вот живу, и все.

– Женщинам легче. Раз родила, значит, оправдана...

Голос Кирпикова размеренно и глухо доносился из-под земли. Он вещал безадресно, вообще, и Варвара подумала: да есть ли там мужик-то?

– Сань?!

– ...Ты оправдана, дети – твоя заслуга.

Варвара вдруг горестно сказала:

– Спасибо, оправдана. Дети оправдали. А вот хоть осуждай не осуждай, типун мне на язык, все одно согрешила, одно к одному, думаю иногда, грешница, лучше бы их не было. – Она помолчала. – Нам, Сань, тяжело, а им будет еще тяжелей. И больше, ты меня на куски режь, ничего не скажу. Сгорю, головешкой буду лежать.

– Почему это им тяжелей? Я думаю, обратно. – Кирпиков сказал это торопливо, чтоб отвлечь Варвару. – На-ка! С чего это им тяжелей? Ма-ать?!

– А болезни? – все-таки откликнулась Варвара. – Нервы, да давление, да сердечные, голова болит, сейчас молодые-то все гнилушки.

– А что, раньше болезней не было? Все заразы побеждены: оспа, малярия, тиф. А нервы, мать, это только у тебя, ты все близко к сердцу принимаешь, а молодым на все наплевать. Попробуй невестку расстроить – она тебе вперед глаза выцарапает, от семи собак отлается. Это мы последние такие жалостливые. Ну, Машка еще. Да и ее, – горько сказал Кирпиков, – могут по-своему поворотить.

Спустя некоторое время Варвара задала все тот же вопрос: «Ты вылезешь?» Но Кирпиков не стал перекоряться, не стал спрашивать, зачем надо вылезать.

– Мы так душевно разговариваем, так хорошо сидим.

– Это ты, идол, сидишь, – устало сказала Варвара.

– А ты чего всю ночь свет жгла?

– Боялась. А ты что, до зимы будешь сидеть?

– Не трогай, может, пораньше выйду. Я ж не мешаю. Тише таракана... Я только тебе по секрету скажу, никому не говори – я для науки сижу. Проверяю самого себя на совместимость. Космонавты сидели, а мне уж и нельзя? У меня здесь, может, прямой провод кой-куда.

И Варвара махнула рукой.

«Интересно устроен человек, – думал через два часа Кирпиков, – то она мешала мне с разговорами, то давно голоса не слышал».

Потом еще прошло время, и полная тишина восхитила вдруг его – и он возликовал.

Глаза его обтерпелись, и он увидел то, чего не замечал раньше, – со всех сторон его обступило тихое свечение, похожее на мерцание свежего снега под луной. Когда он слегка менял положение головы, свечение вздрагивало, и он боялся его спугнуть. Никогда раньше он не видел этого мерцания, залезал под пол по делу, знать не знал, что здесь идет эта тихая пугливая жизнь. Свечение гнилушек для сверчка все равно как лунная ночь для нас. Здесь его территория, его внимательная подруга, их дети и их хоровое пение.

Додумавшись до таких вещей, Кирпиков сравнил себя с Машей, которая во всем, даже в трех камешках, видела семью («Побольше – папа, поменьше – мама, а самый маленький – их дочка»), сравнил и подумал: она бы поняла.

Кирпиков заправил лампу и сел за математику. К вечеру она надоела ему смертельно. Все тот же великан с разинутым ртом, те же тонны и центнеры жратвы, а там, где было сосчитано, сколько человек спит, ест, сколько умывается, работает, читать было неинтересно. А где подсчитано, сколько он сидит в туалете? Стоит в очередях? В среднем за жизнь. Почему скры-

вают? Неправды Кирпиков не потерпел. Выждав, когда Варвара пойдет за хлебом, он сделал вылазку. И забрал все книги, бывшие в доме, – а это были учебники.

Он начал с зоологии и сам себя не мог оттащить за уши – ничего себе, а он и знать не знал, какие интересные книги учили его детей. Он смотрел на ящеров и находил в них сходство с кукурузоуборочными комбайнами. Те так же возвышались над полем, так же выгибали спину. Он проскочил зоологию и сел за ботанику. Папоротник был древнейшим, а он у них растет. И из него каменный уголь. А почему у них нет разработок? Лес вырубил, надо добывать уголь. Запомним, отмечал он, садясь за историю.

История потрясла его окончательно. Он нашел лопату и принялся за раскопки. «Неолитическую стоянку найду, – думал он. – Скребокковые орудия, наскальные рисунки, а нет, так отпечаток папоротника, ну это-то ладно, а каменный уголь надо найти. Или вообще какое ископаемое. Или брызнет фонтан нефти. А если что, – думал он резервно, по-крестьянски, – так хоть подполье расширю».

Вначале он не копал, а как бы окапывался, потом будто отрывал щель, потом взялся за окоп полного профиля. И только когда подходил к штабной землянке в три наката, опомнился и стал внимателен к срезам.

Лопата стучалась о твердое – он вздрагивал, щупал. Камешки откладывал в сторону, щепочки отбрасывал. Докопался до глины. И тут уж, как выразился бы Афоня, сел на дифер: глина оказалась непроворотной.

Пришлось часто отдыхать, глина сверху была твердой, сухой, подальше – сырой, тугой. Никаких щепочек. «Неужели в этом слое не жили? – думал Кирпиков. – А если откопаю, то как назовем государство? Северное Урарту? Ты откопай вначале», – упрекнул он себя. Еще полчаса – и он начал сдаваться. «На хрен оно загнулось?» – думал он про Урарту, но вятское твердолобие, которое пора ввести в поговорку, заставляло копать дальше.

12

Изо дня в день Деляров прощался с белым светом. Он завещал Дусе подшивку журнала «Здоровье» и просил не терять. Он все собирался что-то рассказать. Но Дуся, как заинтересованное лицо, не годилась в исповедники. Интерес ее был в одном:

– Леонтий, разве я для себя? Мне надо, чтоб у дочери был отец. Она тоже имеет право сказать слово «папа».

– У меня уже есть дети, – предсмертно хрипел Деляров.

– Дочь тебе в тягость не будет. Скажет «папа» – и я спокойна. А то она упрекала, что у нее не все как у людей. А я на тебя покажу: полюбуйся, дочка. Ты не умирай, я ей телеграмму отбила. Она ничего девка, – продолжала Дуся, – была непочетница, а теперь пишет: смотри, мама, что из меня вышло – квартира и образование.

– Но я плохой, – хрипел Деляров.

– А кто хороший? – спрашивала Дуся.

– Принеси, – шептал Деляров, и обильные слезы текли из глаз. Он худел. И если бы не добавлял жидкости, то скоро и плакать ему было бы нечем.

В буфете, куда Дуся шла с черного хода, на нее шипела Лариса: «Опять?» – «Тебе хорошо, – отвечала Дуся, – ты на народе, ты от ухода избавилась, так уж давай откупайся». Лариса наливала ей бидончик. Деляров высасывал его в полчаса, снова принимался плакать и все выплакивал. «Принеси», – шептал он. И так до трех-четырех раз на дню.

С субботы на воскресенье, была полночь, Дуся запомнила: грохотал дальний скорый номер первый, в полночь Деляров сделал признание:

– Я бежал от жены и детей.

– Правильно, – сказала Дуся, – я ее знать не знаю и знать не хочу, но чувствую: она тебя недооценивала.

Деляров уточнил:

– Вернее, они меня бросили, и заслуженно.

– Ничего, – утешила Дуся, – теперь ты хороший.

Деляров сделал последнее признание:

– Я работал секретным сотрудником.

– Надо же кем-то работать, – ответила на это Дуся.

– Я прощен? – прошептал Деляров.

– Все пьешь, а не ешь, – упрекнула Дуся.

– Я прощен?

– Отвяжись.

– Тогда я умираю.

– Не вздумай!

Деляров красиво откинулся на подушки и замер. Дуся кинулась за фельдшерницей.

Безотказная Тася не могла прощупать печень и поэтому прописала лечение голодом.

– Принеси, – прошептал Деляров. – Голодом, но не жаждой.

– Брошу я тебя, – сказала Дуся и пошла к Ларисе.

– Скоро умрет, – сказала она Ларисе.

Лариса опечалилась:

– Знаешь, Дуся, брось бидончик, кати целую бочку. Пусть напоследок потешится.

К вечеру Деляров запел строевую походную: «Ма-руся, раз, два, три, калина, чорнявая дівчина...»

Потом, плача и рыдая, спросил, пьет ли Кирпиков. Ему сказали, что пока неизвестно.

13

На другом конце поселка тоже копали. Но цель копания была иная. Если Кирпиков раскапывал прошлое, то здесь закапывали настоящее. Копал Вася Зюкин. Вначале он пробовал рыть по-собачьи, руками, но двигалось медленно. А хотелось быстрее. Вася взял лопату и почувствовал, что становится человеком. Около ямы валялись обреченные вечности пустые бутылки. Были тут разные трофеи: и сквермут, по Васиному выражению, и кислинг, и солнце-удар – все они подлежали уничтожению.

Надо было крепко желать избавления от прошлого, чтобы рыть с таким остервенением. «Поглубже их, поглубже», – думал Вася о бутылках. Из окна за Васей наблюдали через темные очки. Вот он углубился до пояса, вот скрылся по грудь, вот с головой, а под конец только мелькала выбрасываемая земля.

Вдруг вопль услышала жена Зюкина.

– Тону! – орал Вася. – Дай веревку! Вода!

Он вылез теперь уже не из ямы, а из колодца. Жена велела зачерпнуть жидкость на пробу и отнести Тасе. Тася не взяла на себя ответственности дать заключение, выехала вечерним поездом в райцентр, ночевала у деверя, утром пошла в аптеку.

Анализ показал: вода необычайно богата анионами и катионами, хотя содержание фосфора ниже нормы, но зато калийные и натриевые компоненты превышают допустимые, азотно-кислая составляющая колеблется – словом, вода, открытая Васей, была целебная. Пить можно, купаться подождать.

Вася стал было рыть новую яму, чтоб схоронить-таки бутылки. Но его осенило. Он сделал из бутылок оригинальный сруб. Намешал глины и замазал в нее пустые бутылки. Красота получилась – стекольные стенки играли отблесками воды, ветер залетал в горлышки бутылок и

ворковал. И Васе казалось, что это благодарная душа спасенного голубя. Днем источник сверкал на солнце, ночью дробил лунный свет. Вася сидел около источника, всех просил попробовать, но никто не решался. Только Физа Львовна сказала: «Совсем как в нашем колодце, никакой абсолютной разницы». – «Значит, у вас тоже источник», – ответил добрый Вася.

Он первый из всех вспомнил о Кирпикове. Вот ведь кого надо благодарить, вот ведь кто поставил его на ноги.

Меж тем забытый Кирпиков писал в дневнике: «23 июля. Глина. 24 июля. Глина. 25 июля. Второй звонок. Глина». 26 июля лопата его ударилась о кость. Он отскреб глину – череп. Посветил. Собачий. «Жаль, – подумал он. – И рассказать – засмеют: собачий череп. Если бы череп далекого пращура». Стоп! Под черепом глина кончилась, и начались какие-то странные рвущиеся волокна. Вроде трава. Кирпиков вспомнил: трава поднимется до животных, факт налицо! А животные поднимутся до нас. Кирпиков пощупал лоб. Кожа на нем ерзала. Мягкие ткани, сказано о коже в анатомии. Собачий череп он положил сбоку. Стал ковыряться дальше, но шла сплошная свинцовая глина. «Как это ребята росли, – думал он, – читали такие хорошие книги и ничего не откопали. Да я бы знал, все бы перерыл».

А второй звонок, то есть сердечный приступ, у него был накануне. Видимо, от тяжелой глины и от духоты. Но Кирпиков был уже опытный. Когда перехватило дыхание и отнялись ноги и руки, он не стал дергаться, а как повалило, так и лежал, старался терпеть. И вылежал, вдохнул. Потом вполз на лежанку. А потом снова потихоньку разработался.

Он стал выходить тайком, когда не было Варвары, и тайком помогал ей. Она нарочно громко удивлялась, какие это тимуровцы ей дров наготовили, воды натаскали, поганое ведро вынесли. Караулила мужа наверху, но он не попадался.

В это утро он сидел, скреб молодую бороду, смекал насчет проводки электричества и услышал:

– Хозяева!

Голос Веры, почтальонки.

– Сейчас! – откликнулась Варвара. Заскрипела кровать. Варвара отдыхала после ночного дежурства.

– А хозяин-то где? Пенсию думает получать? Сейчас тебе покой. Не пропьет. Все в сохранности.

– Дак ведь уехал он.

– Гли-ко ты, гли-ко, – удивилась Вера. – Тогда ты, матушка, распишись.

Кирпиков заскрипел вставными зубами. Часть пенсии он хотел истратить на лабораторное оборудование. А Варвара разве выделит?

Женщины сели попить чаю, поговорили о зюкинской воде. Доверия к ней не было, всегда кажется, что исцеление ждет нас за тридевять земель, а не лежит под боком. Ну хоть на ноги встал, и то хорошо, сказали они о Васе.

Перед уходом Вера еще раз спросила:

– Уехал, значит?

– Уехал.

– Ладно, пойду. Таскать почти нечего. Три пенсионера на весь поселок: Деляров, Севостьян Ариныч да твой. Скоро Зотовы, Алфей и Агура, пойдут. Да мы.

– Скорей бы.

Вера ушла.

– Дай деньги, – тут же сказал Кирпиков.

– Бери, – ответила Варвара, – вон лежат, вылезай, все твои.

– Деньги семейные, можешь расходовать, но мне нужно лабораторное оборудование для опытов.

Варвара перекрестилась.

– Дальше ехать некуда! – сказала она. – Дымом я тебя не выкурила, я тебя, как крысу, водой залью. Ты чего там копаешь? Я что, глухая?

– Я копаю бомбоубежище.

Варвара чего-то оглянулась и ужаснулась, как от видения. Дверь, которая всегда скрипела, сейчас была нараспашку и в ней стояла бледней привидения, белей коленкору почталонка Вера. И надо же было Кирпикову утром вылезти и смазать петли. Ему скрип петель мешал читать. Ему требовалась благоговейная тишина. А Вера забыла квитанционную книжку и вернулась. Женщины постояли, в страхе глядя друг на друга. Потом Вера убежала.

– Ну вот, – сказала Варвара и села отдохнуть. – Теперь из-за тебя, нехристя, и меня ославят. Сидишь там, как дезертир. Уж хоть бы тогда в лес, что ли, ушел.

– А что это за зюкинская вода?

За окном затрещала сорока. Варвара сказала ей старинную присказеньку:

– Сорока, сорока, хорошую весть скажи, плохую дальше неси.

Сорока улетела дальше. Весть и вправду была неважнецкая, несла ее Вера. Она так быстро бежала, махала руками, что два раза просквозила поселок, пока не заскочила с ходу в магазин. Ударилась о прилавок, сбила с точной регулировки весы (с тех пор они недовешивали на каждом килограмме сто граммов) и... убила всех наповал:

– Кирпиков копает укрытие. Бомбоубежище. Сама слышала!

Спички стали хватать ящиками, соль – мешками.

– На всех делает? – слышались вопросы. – Или только на себя?

– А на мерина?

– Какой теперь мерин?

Дуся волновалась всех сильнее.

– А больных будут вывозить? В каком направлении?

Вслед за Верой ушла и Варвара. Кирпиков, думая, что кончилось уединение, решил собираться. Он не удивился, когда услышал Афюню.

– Ты в подполье? – Афюня поднял крышку и спустился. – Ого! Да ты что, тут жить собрался?

– Живу! – ответил Кирпиков, думая, что Вера уже всем рассказала.

Но Афюня ничего не знал.

– Саш, я что прошу – спрячь деньги, – он протянул холщовый мешок. – Не бойся, мои. От своей прячу. Спрячь. А потом я в гости с ней приду, ты как вроде подполье дочищаешь и крикнешь: «О! Нашел!» А я крикну: «Чур, пополам!» И ты себе сколь-нибудь отсчитаешь. Вроде клад. Мне на деньги – тьфу. Деньги что навоз: сегодня пусто, завтра воз. Далеко не задельвай. Баба дурная, говорит: куплю еще два телевизора. У меня есть, теперь себе и девке. И по комнатам разбежимся. Денег не жалко, но эта же заразную музыку включит, она ж глухая, я же не услышу комментариев. Эх, жаль, ты не любитель! А может, я победил в телеконкурсе «Предсказатели»? Получу футбольный мяч, и на нем все расписались.

– Давай я распишусь.

Афюня фыркнул и долго смотрел на Кирпикова. Потом постучал себя по лбу и далее постучал по тому, что подвернулось, по собачьему черепу. Отдал деньги и вылез. Даже и не заметил, что Кирпиков бородат, что зачем-то в подполье книги, телогрейка, одеяло.

Кирпиков захоронил собачий череп и стал зарывать яму. Он вспомнил, что уже несколько дней не видел мерцания светляков, потому что забросал нижний венец глиной. Торопливо стал отбрасывать землю. Бревна сруба вновь обнажились. Кирпиков задул лампу и приготовился воспарить в мерцающем окружении. Одиночество казалось неполным без этого мерцания. И оно появилось. Но воспарения, сходства с плаванием в межзвездном пространстве не получилось. Трудно удержаться, чтоб не заметить, что ничего не возвращается.

И еще один посетитель, на сей раз Вася, навестил его.

– Александр Иваныч, – закричал он, – плюнь, не мучайся! Я уже все откопал. Я источник откопал.

– У тебя вначале что шло, какой слой? – спросил Кирпиков.

– Песок.

– И у меня. А дальше?

– Глина.

– И у меня. А дальше?

– А дальше полилось.

– А у меня все глина, глина, – печалился Кирпиков.

– Радуйся, – утешал Вася, – у тебя бы пошла вода, подполье бы испортила, куда картошку сыпать? – И он снова в который раз говорил, что анализ воды хороший, что он оборудовал источник и «прошу пожаловать». – А вся благодарность тебе! – захлебывался Вася. – Иваныч! Отец родной! Все отреклось, хуже пропащей собаки считали. Ты сказал: распрямись, Вася! Я распрямился и открыл источник. Пойдем, попьешь. Или сюда принести? Прикажи.

– Если ты распрямился, почему ты ждешь приказа? – заскрипел спаситель.

– Не жду! Я, например, сам, никто не велел, этикетки с бутылок насобирали! Никто не запрещает. Два альбома залепил, вечерами перелистываю...

– Отправляйся, – сухо сказал Кирпиков.

Не обидно ли – один копает сознательно и даже следов костра не отыщет, а другой тятнулся два раза – и источник. Вот и думай над смыслом жизни. Какой смысл, когда никакой справедливости.

– Тебе чего помочь? – спросил Вася. – А то пойдем, посмотри, как я облицевал. Красота.

– Отправляйся, – повторил Кирпиков. И добавил, как совершенный брюзга: – Развел тут хвал, понимаешь. Вода, вода!

– Александр Иваныч, я к тебе со спасибом.

Топотанье ног раздалось на крыльце. Сегодня к заточнику паломники шли неустанно. Это были женщины и Афоня, остановивший панику в магазине. «Какое бомбоубежище? – удивился он. – Я только от него». – «Проверить!» – раздались голоса. И женщины потекли к лесобазе.

Из подполья вылезал Вася. Делегация смахнула его обратно и спустилась в яму в полном составе. Когда все убедились, что насчет бомбоубежища враки, тогда уселись в холодке по краям ямы и свесили ноги.

– Ну ладно, – сказал Афоня, – ты расширяй, мы вылезем, не будем мешать, а если что, крикни. Пойдем, бабы, работает человек.

Но Кирпиков остановил:

– Пришли в гости – и заторопились. Варя! Ты чаю нам не можешь сюда спустить?

– Девушки, что вы мою воду не пьете? – спросил Вася. – Я же даром, а вдобавок целебная.

– От чего?

– От этого самого, – игриво сказал Вася. – Ты ж, Дуся, в невестах запохаживала.

Явился кипящий самовар.

– Гостям я рада, – говорила Варвара, разливая чай. – И за вареньем не надо лазить. Угощайтесь. Отец, угощай.

– Вас не беспокоят мыши? – спросила Физа Львовна.

– Нынче все мыши в лес ушли. Жара. Кору гложут, как зайцы.

– Стоп! – сказал вдруг Кирпиков.

– Чур, пополам! – крикнул Афоня.

– Совсем не то, что ты думаешь, – сказал Кирпиков. – Я все думал, и вот сказали: лес и кора. Я прочел в «Ботанике» о кактусах. У них колючки такие, что никто не зарится, даже

верблюды. А смотри, какая береза беззащитная, даже мышь подъедает. И вот надо скрестить, получится березовый кактус – и никто не тронет.

– Это у вас от жары, – объяснила Физа Львовна. – Конечно, я развожу кактусы, и они колючие, их поливает Мопсик...

– А разве я его не утаскивал? – спросил Вася Зюкин.

– А говорю не с вами, – строго оборвала Физа Львовна. – Александр Иванович, это же надо обдумать, и мы с вами получим патент.

Афоня давно уже ковырял сзади себя и доковырялся до собачьего черепа. Ощупал зубы, испугался и выбросил череп на свет. Женщины стали выметаться наверх. Опрокинули на Васю самовар. Вася завизжал, заскулил и уполз быстрее всех.

И Кирпиков вспомнил, что мешок с деньгами был закопан вместе с черепом. Он сунулся – точно.

– Нашел! – крикнул он.

– У тебя что, кладбище? – спросил сверху Афоня.

– Эх ты, – сказал Кирпиков и выпихнул мешок наверх. – Деньги! – И захлопнул за собой крышку и уже снизу слышал, как Физа Львовна воскликнула:

– Чур, на одну!

– Надо находку сдать государству, – заявила Вера. – Полагается двадцать процентов.

– Это деньги мои, – сказал Афоня.

Когда все убедились, что деньги Афанасьевых, попросили, чтоб сколько-нибудь дали Васе на лечение.

Недолго после гостей высидел Кирпиков – явились наружу книги и лампа, Варвара протянула пару чистого белья.

Кирпиков вышел на крыльцо, и его повело: в голове потемнело, резануло по глазам. Он боялся, что ослеп, нет, только долго казалось ему, что на всем радужные мазутные пятна. Он и мерина увидел разноцветным, как жар-птицу.

– Что, брат? – спросил Кирпиков.

Мерин осторожно переступал и молча тыкался мордой в плечо хозяина. Перед своей баней он устроил баню мерину – продрал скребком, протер мочалом и прямо в конюшню окатил водой из колодца. И все казалось Кирпикову, что он моет мерина бензином.

Вымылся и сам. Бороду решил оставить. Очень она чесалась, но если сбрить сразу, то Варваре будет повод думать, что сам муж признаёт поход в подполье глупостью.

Он посмотрел в зеркало. Полнота лица исчезла, глаза ушли еще глубже, но выражение было то же – ироническое. «Не отпадет голова, так прирастет борода», – вспомнил он.

С утра он взял топор и полез в подполье. Обстукал бревна – то, заднее, которое светилось, надо было менять. На дворе вымерил новое бревно, выбрал паз. Вдвоем с Варварой они по покатам втянули бревно, теперь оставалось самое трудное. Кирпиков прогнал Варвару, принес оглоблю, кирпичей. Через три кирпича поддел угол и стал выжеравливать, то есть вынимать целые бревна, освобождая просевшее. Подсунул кирпичи под целые бревна. Так же он поднял и второй угол. Выбил испорченное бревно. В громадную щель хлынуло теплом, пылью.

Новое бревно пришлось хорошо. Он не надеялся, что сделает один, и радовался, что есть еще силенка, хоть и покашивает на левый бок, хоть и чувствуется, что частит сердечко, но дело сделано.

Это бревно переживет его, это уж точно. И, может, вправду смириться с тем, что память в вещах? Мало, конечно. Это же несерьезно, что кто-то непрестанно поминает добрым словом столяра, сядя на табуретку, крестьянина – покупая капусту, фармацевта – принимая анальгин. Уж хотя бы ценить друг друга, и то ладно. Кирпиков подумал вдруг, что когда специально старался думать о жизни, ничего не выходило, а взялся за работу – и одолевают мысли. Пока тесал бревно, выбирал паз, чего только не вспомнил. И все больше работу. Почему-то фронт

реже вспоминался, чем работа. Уж казалось, никогда не забудет проклятой Померании, где ранило, он тогда в санбате всех насмешил переделкой этого слова: «Помиранией назвали, а мы – хрен-то», – шутил он.

Но он заметил, что опять его заносит, и твердо положил не отвлекаться. Но положить-то положил, а задумываться не перестал. Не от нас зависят наши мысли. Крепко занимало Кирпикова – как понять, что именно он прожил такую жизнь? Ведь другой мог заменить его в работе. Но вообще-то раз дом его, то ему и полагается. А если бы сил не было, пришлось бы звать. И помогли бы. Но, думал он дальше, если просить все время, то надо благодарить, отрабатывать, а нет сил – платить. А если нечем платить? Нечего и просить. «Это уж я зря, – подумал он. – Помогут из жалости».

Так в чем же он был незаменим? Ну в самом деле? Может, в том только, что занимал место, а мог бы занять кто и хуже. Но ведь мог кто и лучше!

Измучив себя такими мыслями, он уснул.

Доказано, что сны видят все, только не все их помнят.

Жаль, часто снятся вещи необходимые. Менделееву, например, приснилась Периодическая система элементов. С одной стороны, сон дело призрачное, с другой – реальная вещь: система элементов. Кирпикову, конечно, никакая система присниться не могла. Но могло другое...

14

С Васей произошло чудо. Взвизгивая и скуля, он примчался домой. Одежда жгла, он выскочил из нее и сверзился в свой источник. И что же? Выскочил целехоньким, помолодевшим. И пока милосердная Тася бегала за своей сумкой, пока Оксана отсчитывала деньги на помощь, Вася переоделся и успел причесаться. Не понадобилась сумка, и деньги Оксана не отдала.

Но любое чудо требует подкрепления. И оно было. И не одно. Во-первых, Вася отнес водички Делярову. Тот слабеющим жестом отринул приношение. Вася влил в него несколько капель насильно. Деляров открыл глаза. Еще. Сел без посторонней помощи, стал пить целебную воду сам. Щеки порозовели, сахар в крови пришел в норму.

Как раз в эту минуту Дуся, повязанная черным платком, ввела за руку приехавшую дочь.

– Вот твой папа, – рыдая, сказала она.

Дочь, готовая присутствовать при излечении души, увидела цветущего мужчину.

– Дуся, – сказал этот мужчина, – я выплеснул из бидона. Попроси Ларису больше не отравлять меня этим пойлом. Отнеси тару. Больше не катайте ко мне бочки.

Ноги в руки понеслась Дуся вдоль по улице. А Деляров пригласил сесть Дусину дочь, попросил Васю еще принести живой воды. Вася ушел. Деляров думал: «Если жениться, так на молодой».

– Как вас зовут?

– Рая.

– Меня Леонтий Петрович. Можно без отчества. Вы любите поэмы Пушкина?

– Вполне, – отвечала ему Рая, – но у меня другая ориентация, я люблю заниматься досугом, следить за новостями, проводить аналогии между ними и силой любви. Ведь рождаемость не следствие влечения, но повод для анкеты социологов. Не так ли?

Через десять минут Рая пришибла Делярова своим интеллектом. Деляров вновь заумирал, но Вася с водой оживил его.

– Руку! – сказал Деляров. – И сердце! Вам, Рая!

– Ну что ты, папашка, – сказала Рая. – Встряхнуться я не против, но в принципе я замужем. – Она сделала глоток. – О! – сказала она.

Решили испытать на мерине. Мерин выглотал ведро и по-жеребячьи заржал, да так, что везомые на выставку кобылицы степных конных заводов чуть не разнесли в щепки товарный вагон. Хорошо еще, были некованы.

Итак, было установлено: вода омолаживает, отвращает от пьянства до нуля, заживляет любые внешние и внутренние раны. Мужики собрались на совет. От Павла Михайловича Вертипедаля сильно пахло амбулаторией, то есть спиртом. Дали ему воды.

– Как рассол, – обрадовался он.

– Захмелиться, поправиться на другой бок хочешь?

– Ни синь пороху!

– Поклянись!

– Мужики!

– Тогда так, – спокойно продолжал Василий Сергеевич Зюкин, это он созвал данный совет. – Тогда так. Надо воду толкать дальше. Только предлагаю изменить название. Зюкинская – не очень. Напоминает слово «назюзюкался».

– Ну и что? – возразили ему. – Тут любое можно применить. Например, наафонился. Верно, Афоня?

– Я еще вашу воду не пил, – ответил Афоня. – И еще подумаю – пить ли. Это, значит, меня отшибает от выпивки, а если я с устатку или с морозу?

– До морозов еще надо дожить, а устатка с нее не будет.

– Вот и доживу, посмотрю, – сказал Афоня.

– Тут супруга, мой серый кардинал, предлагает назвать «хрустальной». Думаю, не будем слушать женщину и поступать наоборот. Согласимся?

– Зюкинская!

– Я, ребята, не гордый, тут главное – для пользы дела. Голосую. Только, ребята, слово «хрустальная» ставить впереди. Кто за? Все. Кто против? Я. Кто воздержался? Один. Ты почему, Саш, воздержался?

– Она на меня не действует, – ответил Кирпиков. – Вода и вода. На мне не отражается.

– Но в основе ты за?

– Конечно.

– Значит, хрустальная зюкинская. Тогда так...

Для начала мужики отбили от пьянства остальных мужиков. Сделали это хитростью. Взяли бочку с пивом, которая предназначалась Делярову, разбавили пиво хрустальной зюкинской и прикатали в буфет. Лариса в тот же вечер зарядила ее и распродала. Мужики, привыкшие, что пиво разбавляют, не удивились прозрачности напитка. Но вот что интересно – повторять никто не захотел! Задолго до закрытия буфет был пуст.

Один вечер Лариса отдохнула с удовольствием, на второй встревожилась, на третий пошла к Оксане.

Всё новые факты могучей силы хрустальной зюкинской узнавал изумленный люд. Староверы-стрелочники Зотовы, Алфей и Агура, объявили, что заранее отказываются от пенсии и что даже хотят взять ребенка из Дома малютки. Злые языки (ах, эти злые языки, на них пока не действовала хрустальная) утверждали, что ребенка Зотовы ждут сами, так как омолодились.

Еще оказалось, что если смачивать водой рельсы, огибающие поселок, то поезда скользят бесшумно.

Потянулись к источнику и разные твари, как-то: птицы и звери. Для них были сделаны специальные поилки. Собаки после воды не просто виляли хвостами, а непрерывно крутили ими по часовой стрелке. Тявканье их стало мелодичным и больше походило на пение. Кошки перестали ловить мышей. Курицы увеличили яйценоскость. Немудрено, что при такой жаре из яиц досрочно вылуплялись цыплята, мгновенно обсыхали и строем маршировали к источнику.

Без дыма и огня горел план товарооборота. Оксана кусала локти. Когда к ней прибежала Лариса, обе поняли, что беда у них одна. Вся надежда оставалась на Афонию. Волей-неволей пришлось Оксане поить супруга. Это дело ему понравилось. Утром он как следует опохмелился у Ларисы и хотел отдохнуть, но Оксана потребовала в магазин – надо было выполнять план.

Афоня сбежал от нее напрямик к источнику.

Ночью Оксана и Лариса сделали вылазку с целью засыпать хрустальную зюкинскую, но мужики, предвидя осложнения, именно с этой ночи выставили охрану.

Лазутчиков подвели габариты. Вылазка обнаружилась.

– Милые девушки, – говорил Кирпиков, – успокойтесь, выпейте воды, что-нибудь придумаем.

Утром было написано и отправлено с курьером письмо. В нем была просьба снизить план. Курьер вернулся к вечеру – план оставлен прежним. Сели думать. Афоня, жалея жену, выставил мешок денег.

– Афоня! – кричали мужики, хватая его за руки. – Родной, не надо!

– Однова живем! – орал Афоня. – Как пришли, так пусть и уходят!

На деньги спиртное закупали ящиками. Выливали на землю. В одну неделю вымахали в рост человека буйные хмельные травы. Коровы первые распочухали их. Жадно щипали, быстро веселели. Не давались доить. Жители даже не заметили отсутствия молока, пили воду. Ходили подтянутые, поджарые, походка их стала легкая, уверенная.

Вася высказывал тезисы к исполнению: пустить источник в водопровод, чтобы зря не бегать. Далее: выносить воду на платформу. Добиться остановок всех поездов, а так как их идет великое множество, то вскоре по всей стране разъедутся протрезвевшие и здоровые люди. Далее: на базе источника сделать санаторий. Против последнего выступил Кирпиков.

Пришлось созвать совет. Вася при всех орал:

– Номер не пройдет! Ты почему лежишь на пути? Откуда ты взялся? Если на тебя моя вода не действует, значит, ты такой и есть. Поднять руки! Единогласно! Мы тебя изгоняем. Гуляй!

– Мне наплевать, – начал Кирпиков. – Могу и изолировать себя.

– Пусть скажет свои доводы, – потребовал Севостьян Ариных. Вода вернула ему слух, и он слышал, что сказал Вася, но не слышал возражений.

– Думаешь, твой источник вечный? – спросил Кирпиков Васю.

– Не думаю, а так и есть, – ответил Вася. – Не иссякнет струя. Запишите. Почему никто не ведет протокол? Воду ему не выдавать, все равно бесполезно. Зря не портить.

– Но я прошу оставить меня помогать общему делу, – попросил Кирпиков. – Несмотря на несогласие, я готов работать в любом виде.

Выступил Афоня:

– А вообще, ребята, так хорошо, так хорошо! Состояние удивительное.

– Крылатое состояние! – поддержали его.

– Это такая радость, – ликовал Афоня, – такая радость, что мы не пьем! До того хорошо, что прямо не могу. Кучеряво живем! Надо чем-то отметить. Эх, выпить бы на радостях!

Все, кроме Васи, оценили шутку. Вася сурово заметил:

– Отставить. Вернемся к тезисам. Далее: просить, кроме своих поездов, пустить по линии и зарубежные. Решаем глобальную проблему отрезвления планеты...

Допоздна горел свет в доме Зюкиных.

С заявлением об уходе с работы пришла фельдшерица Тася Вертипедадь. Делать ей стало нечего – все были здоровы и довольны жизнью. И в самом деле: жители поселка стали примерно одного веса (худые пополнили, и наоборот), подравнялись в росте, только Вася остался коротеньким. Все стали как будто на одно лицо. И если раньше при описании жителей надо было упоминать, что Афоня – мужик здоровенный, что называется мордохват, что Оксана ему под

пару, что Лариса громогласна, а почтальонка Вера суетлива и худа, что у Варвары печальные глаза, а Севостьян Ариныч глух и ждет слуховой аппарат и тому подобное, то сейчас жители были подбористы, глядели бодро, слышали прекрасно, и слуховой аппарат, пришедший по разделу «Товары – почтой», был возвращен, но не по причине, что оказался плох, а ввиду заботы Севостьяна Ариныча о более страждущих. Почтовые издержки Севостьян Ариныч отнес на себя.

Вася, взяв заявление, сказал фельдшерице, что пусть с работы не уходит, но переменит профиль – пусть станет санэпидстанцией.

– Но, – сказал Вася, обращаясь ко всем, – почин работницы Вертипедадь заслуживает всяческой поддержки. Ведь смотрите, друзья, кто такая Вертипедадь? Работник средней руки, а какой большой пласт поднимает неиспользованных ресурсов. И действительно, – говорил Вася, встряхивая шевелюрой, и все тоже встряхнули шевелюрами, потому что было чем встряхивать, у всех отросли кудри, кроме Кирпикова, – действительно, стоит подумать, нет ли где лишних инстанций. Например, мне доложили, что одного строителя ударило по голове балкой. Его обмакнули головой в источник. И что? К вечеру он подал два рацпредложения. А посему нужен ли нам инженер по технике безопасности? Нужен ли парикмахер? Он всегда разбавлял одеколон водой, теперь же старается хрустальную моего имени разбавить одеколоном. Между тем мы так помолодели, что безусы и юны, а Кирпиков, – Вася клевал Кирпикова где только мог, – Кирпиков пусть будет экспонатом старой жизни и трясет бородой. Как старый козел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.